

Евгений Стаховский



43

роман-психотерапия

Евгений Стаховский

43. Роман-психотерапия

«Издательские решения»

Стаховский Е.

43. Роман-психотерапия / Е. Стаховский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-744300-9

Роман-психотерапия. Роман-путешествие. Роман-исследование. Главный герой отправляется в путь, чтобы посетить столицы всех европейских стран. Уверенные стилизации, зашифрованные символы, тонкий эротизм добавляют книге таинственности. Темы настолько широки, что трудно сказать, что здесь на первом плане: само путешествие или то, что его сопровождает. Музыка? Психология? Философия? Литература? Традиции? Социальные конфликты? Или всё же мир человека, о котором всегда нужно говорить с большой буквы. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-744300-9

© Стаховский Е.
© Издательские решения

Содержание

0. 18:05	6
01. Таллинн (Эстония)	7
02. Рига (Латвия)	11
03. Вильнюс (Литва)	17
04. Минск (Беларусь)	19
05. Киев (Украина)	23
06. Кишинёв (Молдова)	28
07. Бухарест (Румыния)	33
08. Будапешт (Венгрия)	41
09. Любляна (Словения)	48
10. Загреб (Хорватия)	52
11. Сараево (Босния и Герцеговина)	58
12. Белград (Сербия)	60
13. Подгорица (Черногория)	63
14. Тирана (Албания)	71
15. Скопье (Македония)	77
16. София (Болгария)	87
Конец ознакомительного фрагмента.	89

43

Роман-психотерапия

Евгений Стаховский

Все мои действия и поступки являются противоестественно совершенными актами отчаянья.

Ричард Аппиньянези.

«Доклад Юкио Мисимы императору».

Пер. В. Сухановой

Когда живёшь один, вообще забываешь, что значит рассказывать: правдоподобные истории исчезают вместе с друзьями. События тоже текут мимо: откуда ни возмись появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в историях без начала и конца – свидетель из тебя был бы никудышний.

Жан-Поль Сартр.

«Тошнота».

Пер. Ю. Яхниной

Самый неподатливый узел – это только перевитая верёвка... Глаза развязывают его, пока кровоточат неловкие пальцы.

Владимир Набоков.

«Подлинная жизнь Себастьяна Найта».

Пер. С. Ильина

© Евгений Стаховский, 2019

ISBN 978-5-4474-4300-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

0. 18:05

Поезда всегда действуют на меня успокаивающе. Принято думать, что им свойственна протяжённость, и я вряд ли готов с этим спорить. С той лишь поправкой, что протяжённость состава для меня скорее во времени, чем в пространстве. Поезд, даже если он идёт по расписанию, похож на машину времени, проводящую досуг в состоянии безвременья. Как новая зенонова апория. Как движение кадров с отсутствием движения внутри кадра. Но это было бы слишком натуралистично.

А я совсем не натуралист.

И больше всего я хочу избавиться от тяжести, завалившей меня по самую голову.

Можно сказать проще: я взял чемодан, нагрузил туда камней и теперь таскаю как ценность, за которой охотятся многие; в первую очередь те, кто эту ценность не способен даже представить.

Да и сам я ведушь на блеск упаковки почище любого хомяка. И собираю вокруг себя бумажные обрывки, не утруждаясь разглядеть напечатанное на них слово. Поэтому и камни мои не в чемодане – камни мои в самом рту, расплющивают неподвижный язык. Но ни сожрать их, ни выплюнуть.

Любое движение мне давно кажется призрачным. Я думаю, что движение – это обман, которым человек прикрывает свою неспособность усидеть на месте. Так и хочется совершить квантовый скачок – знать бы ещё, что это такое. И да, я тоже падок на красивые фразы. И люблю поезда.

Так что если уж избавляться от камней, пока они не превратились в надгробный памятник, лучше всего запастись чем-нибудь одноразовым и отправиться в путь. Снова симитировать движение, не боясь оказаться обманутым. Минуя вокзал со встроенными кафе и статуи забытым правителям.

Мой поезд отправляется в 18:05.

Я дописываю первую страницу и принимаюсь с интересом изучать лица попутчиков.

01. Таллинн (Эстония)

Я приезжаю в Таллинн в 7:23 утра. Выхожу на перрон. Ловлю себя на том, что все перроны мира для меня одинаковы. Это очень точная грань между человеком и временем. Тем единственным моментом, когда время снова начинает существовать и выдаёт своё присутствие обычным чемоданом, катящимся вслед за его хозяином. Вернувшимся на родину.

Собственно, куда ещё можно вернуться?

Я вклиниваюсь в разрежённую толпу и думаю о возвращении. Думаю, что у каждого должно быть место, куда можно вернуться. И я обязательно вернусь. Только ещё не решил, куда именно, – с родиной у меня большие проблемы.

Мои наушники лежат в кармане джинсов. Приезжая в новый город, я никогда не пытаюсь скрыться от его звуков. Более того – первые звуки города мне кажутся самыми важными. Даже если потом будет интереснее. Даже если они вынуждены конкурировать с Бетховеном.

Я иду по перрону и довольно быстро оказываюсь в здании вокзала. Вокзал тут красивый. Но я обещал себе не обращать слишком много внимания на городскую обёртку. Большинство полагает, что обёртка в городе – самое важное. Рассказывая о путешествиях, они говорят о замках, памятниках и изворотах улиц. Мне важнее не улица, а тот, кто по ней идёт. И чем идущий впервые отличается от того, кто может это делать каждый день.

Добравшись до отеля, я оставляю вещи в камере хранения. Номер будет готов к часу, можно и раньше, но тогда придётся платить за дополнительные полдня. Мне не жалко денег, но я не из тех, кто тратит их необдуманно. Во всяком случае, пока мои деньги не вступают в контакт с алкоголем или влюблённостью. Это часы, когда я могу себе позволить шалости, недоступные в обычном состоянии. Хотя обычное состояние кажется мне скучным. Не зря его называют обычным.

К тому же я не устал и не хочу упускать возможности прогуляться утром. Это случается нечасто. Практически никогда.

Вещей я взял не так уж и много. Моё путешествие не должно меня перегружать. Именно поэтому я отправился в путь летом. Помимо очевидной возможности быть на улице большую часть дня, лето позволяет обходиться минимальным багажом. Без всяких свитеров с оленями и громоздкой обуви. С одноразовыми майками и водой из уличных фонтанчиков.

Я отправляюсь завтракать неизвестно куда. Это самый лучший путь. Просто идти по улицам и рассматривать лица людей за окнами кафе. Там, где красивые лица, – и еда хорошая. Когда я говорю красивые, я говорю о том, что с этими людьми можно бы и уснуть. В соседних комнатах. Это значит, что они не отвлекают. Да, пожалуй, красота – это то, что не отвлекает от её созерцания.

Я беру чай с бергамотом, салат с курицей и не откажусь от пирожного. Что-нибудь средневропейское, не очень сладкое. Спасибо. Suur tänu.

Я взял в моду запоминать простые иностранные слова, и «спасибо» в этом смысле – слово универсальное. Оно не требует ни языковых навыков, ни объёмной памяти. К тому же спасибо всегда приятно и вызывает улыбку. Даже если произнести его корявее некуда. Рот сам расползается по углам и обычная вежливость оборачивается дружелюбием.

На набережной я знакомлюсь с девушкой. Её зовут Адель. Она подошла ко мне и спросила, где я купил такие чудные кеды. Кеды и правда чудные, но я бы поставил ударение на другой слог. Пришлось ответить. Тем более они лимонного цвета, а лимон очень располагает к дружелюбию.

Потом она спросила:

– Ничего, если я погуляю с вами немного?

Я согласился, оторопев от того, что первая добыча сама катится ко мне в руки. Это неожиданно. И оказалось проще, чем я предполагал. С предположениями у меня тоже не очень. Надеюсь, её общество утомит меня не слишком быстро.

– Адель – не самое эстонское имя, – сказал я.

Она рассмеялась:

– Да, папа был поклонником Шопенгауэра, и родился я мальчиком, меня непременно бы назвали – Артур. А так ему пришлось довольствоваться именем его младшей сестры.

Я постарался понять, что она вообще имеет в виду, и так ли уж важны имена.

– Сестры Шопенгауэра? – на всякий случай уточнил я.

– Да, – подтвердила она. – Я как-то даже ездила в Бонн на её могилу. Ты был в Бонне?

– Нет. И вряд ли появлюсь там в ближайшее время.

– Всё же попробуй. По европейским меркам это не очень далеко отсюда. Или по европейским как раз далеко. Я всегда путаюсь в расстояниях.

Мне хочется сказать, что Адель была красива, но я тут же сталкиваюсь со своим любимым затруднением. Захотелось бы мне сказать хоть что-то о её внешности, будь она дурнушкой? Или если бы она совсем не отличалась от многих других людей – например от тех, кто сейчас проходил мимо нас? Я не знаю – не попытался бы я отделаться от неё сразу же, не покажись она привлекательной. Но я сваливаю всё на терапевтический эффект.

– Ты надолго приехал? – спросила Адель, когда поняла, что я готов отвечать на вопросы, но не очень готов их задавать.

– Думаю, что завтра я ещё тут побуду. Если не появится серьёзного повода задержаться. Я нигде не планирую быть дольше двух дней. Этого обычно достаточно.

– Куда ты едешь потом?

И тут я почувствовал, что хочу ей всё рассказать. Пространным монологом без уточнений и лишних поворотов головы. Например таким: я приехал в город только утром и завтра еду дальше. Точка. Я решил объехать всю Европу, побывать в столицах всех европейских стран. Точка. Таллинн – номер один в моём маршруте, который я так тщательно и много раз прокладывал, что еле-еле пришёл к самому удобному варианту. Точка. Теперь он не кажется мне слишком удобным, но я буду следовать плану. Восклицательный знак.

Единственное, что меня интересует, – это люди. Точнее – люди не интересуют меня совсем, и я словно разговариваю с камнями. Поэтому я еду только затем, чтобы научиться говорить с людьми не как с камнями, а с камнями не как с людьми, – моё затворничество стало невыносимым для меня самого, и я попробую разбить его на главы.

– Это очень интересно, – сказала Адель. – Я бы на такое никогда не решилась. Хм, видимо у тебя много свободного времени.

Это прозвучало как вопрос с недостатком интонации. Странно, что она сначала спросила про время, а не про деньги.

– Тогда давай так. Если ты захочешь завтра уехать, ты уедешь. И я думаю – ты уедешь. А сегодня проведи, пожалуйста, вечер со мной.

Она вдруг стала такой серьёзной, что остановилась.

– Это такая история. Я сегодня утром вдруг поняла, что совершенно не люблю своего парня. Это открытие меня так обескуражило, что я даже лучшей подруге не смогла позвонить. Я оделась и пошла сюда. Решила, что познакомлюсь с первым, кто мне понравится, с первым, кто покажется интересным. Только я ещё не решила, как понять, интересный человек или нет.

– Это очень просто, – сказал я. – По обуви.

Она снова засмеялась:

– Ты можешь шутить сколько угодно, а я именно так и подумала: пойду на набережную и познакомлюсь с человеком в нескучной обуви. Это была моя первая мысль. Она же единственная.

– Я не шучу, – сказал я, но было поздно.

Адель снова остановилась:

– Привет. Я – Адель.

И протянула руку.

Это был первый момент, когда мне пришлось столкнуться с вопросом, о котором я почему-то не подумал. Если я собрался разговаривать с людьми, многие наверняка захотят узнать моё имя. Не уверен, что я готов так просто с ним расстаться. Вряд ли кто будет заглядывать в мой паспорт, значит, я могу придумывать что захочу. В мире полно имён. Но не все они мне нравятся. И уж тем более не все я готов примерить. Стоило об этом подумать заранее. Изобрести схему.

Я держу паузу, которая начинает выглядеть подозрительно. Чего доброго, Адель подумает, что я и правда придумываю себе имя.

– Эй! – она хлопает меня по плечу.

– Да, привет, я – Саша. Да, Саша. – Уф.

После она зовёт меня с собой провести время с её друзьями.

– Это будет вечером, – поясняет она.

Я удивлённо соглашаюсь – полсотни посторонних людей это именно то, что мне нужно. Руководствуясь принципом «каждый приносит своё», я покупаю бутылку ликёра Känni Kukk, чтобы разбавлять им шампанское, и окунаюсь в бесполезные разговоры, большинство из которых забываю на утро.

– Таллинн – настоящий шпионский город, – говорит мне парень лет двадцати, не расстающийся с Samragi.

Его девочка в этот момент танцует под что-то, навязчиво отсылающее басами к скрипичному концерту Бетховена.

– Таллинн столько раз менял имя, что я бы на его месте не останавливался, – продолжает он.

– Скандинавы... – он придвигается ближе, словно действительно скрывается от шпионов, – скандинавы называли этот город Линданиссе. Сосок Линды. Это жена Калева.

– Калев клёвый, – говорю я, намечая план будущих действий.

Адель подхватывает меня на полуслове:

– Тебе не скучно?

– Я узнал много нового о Линде.

– А, – Адель нескромно обрадовалась. – Ты разговаривал с Анту? Он помешан на женской груди. Наверное, все, кто тут сейчас есть, милостиво показывали ему свою. Я тоже не удержалась.

– Это смахивает на коллекцию.

– У каждого должно быть хобби. Анту коллекционирует груди. Наверное, перечитал китайской прозы. К тому же он собирается стать художником, и формы не дают ему покоя.

– Это обнадёживает. На свете было и есть слишком много бесформенных художников, чтобы мы могли себе позволить ещё одного, – сказал я, мысленно оценивая удачность фразы.

Но Адель уже оборачивалась на чей-то зов.

– Чёрт, он здесь, – сказала она, заметно приглушив тон.

– Кто? – я пытался понять, кому она помахала рукой.

– Тот, кого я не люблю с самого утра.

Я так хотел спросить у неё, как просыпается это чувство, но вовремя понял бессмысленность возможного вопроса.

– Вам, наверное, надо поговорить, – предположил я.

– Да о чём тут разговаривать. Он даже не догадывается о моём утреннем откровении.

Адель не была раздражена, скорее – чувствовала себя неловко. Как будто только что вышла с концерта любимой группы, которая сегодня была не очень.

– Я вас познакомлю, а потом ты скажешь мне – заметно или нет.

Я повёл плечами – что, собственно, мне оставалось? Не скрываться же бегством, да и от чего.

Арви оказался весёлым, довольно симпатичным парнем, из тех, кто смотрит прямо в глаза и при этом не источает агрессии. В нём не было ничего волчьего. Я видел, что Адель чувствует себя в его обществе уверенно, и встретить я их только что впервые и вместе, не задумываясь понял бы что они – пара.

– Ну как? – спросила она меня позже, сомневаясь в самом вопросе.

Арви на другом конце комнаты здоровался с только что приехавшими ребятами.

– Хочешь выпить? – предложил я взамен ответа.

– Я не очень люблю ликёры, да и боюсь сорваться – наговорю лишнего.

– Бережёшь чувства?

– Вроде того. К тому же – вдруг я ошибаюсь.

– Ты ошибаешься.

– Думаешь, я его не разлюбила?

– Думаю, мне пора.

На следующий день я иду шестьсот метров до центрального автовокзала. Спокойным шагом получается 11 минут. Как раз на первую часть до-мажорного струнного квартета Бетховена. Без всяких докучливых басов.

02. Рига (Латвия)

Начало

Он сидит в самом углу кафе и что-то пишет. Кафе такое, в барочном стиле, с полукруглыми нишами и зеркалами с лепниной. Сам не знаю, как я попал внутрь. Видимо, на контрасте. Если несколько раз пройти туда-сюда по улице Калею, непременно захочется чего-нибудь барочного. Барочного порочного. Экстаза святой Терезы. Да спустится ко мне ангел во плоти и пронзит своей золотой стрелой.

Вот он сидит в углу, не останавливаясь ни на секунду. Одни перья остались от крыльев твоих.

Его руки с такой скоростью летают над бумагой, словно он боится потерять мелодию. Только композитор может писать что-то так быстро – наш новый Пёрселл. Да и кто ещё нынче пишет от руки.

Я подзываю официанта – чашку кофе или лучше Riga Coffee Black.

4 части чёрного кофе.
½ части кофейного ликёра.
1 часть Рижского бальзама.
1 часть взбитых сливок.

«И рюмку Рижского отдельно». Тут должно быть что-то из «Фауста».

Когда с кофе покончено, я встаю и решительно подсаживаюсь за его стол, рискуя оборвать этот фантастический этюд и напороться на неприятности.

– Однажды я написал фугу. Она была до того ужасна, что я до сих пор её наигрываю, если попадается пианино.

Я смотрю то на него, то на листы бумаги, и вижу только разлетающиеся буквы. Никаких тебе нот, никакого *adagio*. Он останавливает письмо и смотрит на меня так, будто я для него только пустынный силуэт. Его взгляд спокоен, но наполнен той степенью увлечённости, которая выдаёт фигуры, способные создавать.

Он откладывает перо, откидывается на спинку стула и спрашивает:

– Зачем же ты играешь свою фугу, если она так отвратительна?

Я усаживаюсь смелее и отвечаю:

– Она служит мне напоминанием. Она сдерживает меня от того, чтобы написать что-нибудь ещё.

Он улыбается. Я перехожу в наступление.

– Что ты пишешь?

Раз уж я здесь, моё любопытство должно быть удовлетворено. Никому не известно, когда в следующий раз меня застигнет любопытство.

– Вообще, я думал, ты пишешь музыку.

– Нет, это не музыка. Это предсмертная записка.

Он всё ещё спокоен и собирает в стопку листы, теперь больше похожие на письмо бабушке.

«Дорогая бабушка, здравствуй. Я ещё не вполне вырос, но уже научился плавать. Здешние ребята показали, как ловить змей и добывать мидии. Погода очень хорошая. В студеную зиму я буду вспоминать о ней с благодарностью. Книжек совсем не читаю, зато вдоволь наелся абрикосов. Ещё тут огромные жуки и кривые улицы. А крёстная пьёт беспробудно. Если бы я был постарше, написал бы, что страшно напиваясь она и правда пробуждает бесов, но мне

так мыслить ещё не положено, а когда-нибудь будет поздно, и я отойду и от этого. Надеюсь, ты не болеешь. Я не болею тоже. Целую, твой любимый внук».

– Это не моя предсмертная записка, – говорит он, вытаскивая меня из секундной задумчивости. – Я пишу её для друга.

– Ты делаешь это весьма уверенно.

– Я пишу её не в первый раз. Иногда мне кажется, что он специально впадает в уныние и угрожает суицидом только для того, чтобы получить от меня очередную предсмертную записку. Но я его не осуждаю – это его природа. А я слишком мало понимаю в природе, чтобы диктовать ей свои условия.

– То есть он не собирается умирать?

– А бог его знает. Не возражаешь, я закурю? Чёрт, здесь же не курят. Никак не могу привыкнуть. Пойдём отсюда.

Вышколенный официант, по нашим мимолётным движениям понявший, что мы собираемся уходить, уже стоял рядом. Неужели это будет повторяться из раза в раз? Но я произношу заученное Paldies и выхожу на свет.

– Ты знаешь язык? – спрашивает меня новый друг, свернув наконец листы бумаги в трубочку.

– Нет, я обычно запоминаю несколько слов для мест, где бываю. Sveiks!

– Привет.

– Kā tevī sauc?

– Как тебя зовут? Улдис.

– Manī sauc Sascha.

– Мило. Подержи, пожалуйста.

Улдис отдаёт мне свои записи и закуривает. Я отказываюсь от сигареты, во мне слишком мало бальзама. Мы выходим на площадь. Я не спрашиваю названия, потому что всё равно его не запомню.

– И как много ты написал предсмертных записок? – спрашиваю я, шурясь от солнца.

– Это двенадцатая. Я словно зодиакальный круг прошёл. А эта сволочь всё никак не умрёт.

– Но он хотя бы пытается?

– Не-а. Всегда останавливается. Перечитает моё творение, вздохнёт, может даже слезу пустить, а потом говорит, что передумал. Слабак.

Я не понимаю – шутит Улдис или говорит серьёзно. Наверное, шутит. Или говорит серьёзно.

– Никогда не понимал, зачем людям суицид, – говорю я, взмахнув листами.

– Я тоже раньше не понимал, а потом понял, что тут и понимать нечего. Понимаешь, некоторые люди не то чтобы хотят умереть – они просто не хотят жить. Вот это всё... – он обвёл рукой площадь, – им не нужно. Но так как умереть по щелчку пальцев они не могут, им только и остаётся, что обеспечивать собственную нужность. Но не поступками, не тем, что они делают, не... как бы это лучше сказать... не чувственными порывами, не целями и достижением целей, а искусственным привлечением к себе внимания. Каждый тебе скажет, что суицид – это плохо. И если ты вдруг станешь заламывать руки и изображать клиническую депрессию – тебя начнут вытаскивать, создавая иллюзию твоей необходимости городу и миру. Это такая же попытка важности, как в некоторых отсталых странах – депутатское удостоверение.

Улдис затушил сигарету в миниатюрной карманной пепельнице и забрал у меня свиток.

– Значит, ты пишешь ему предсмертную записку каждый раз только затем, чтобы показать свою дружбу? – я хотел изобразить искреннее удивление, но вовремя остановился.

– Да, как будто я готов поддержать его во всём и уважаю его решение, – ответил он, оценив мою сдержанность.

– Но это ведь не так?

– Конечно, не так. Я вошёл во вкус и теперь рискую создать отдельный литературный жанр. Ты разбираешься в литературе? Что-нибудь подобное было?

– Ну, если есть роман в письмах, почему не может быть романа в предсмертных записках? Но, если честно, я не знаю. Мне не попадалось никогда. Да и какая разница.

– Разница в том, первый я или второй.

В его голосе проскочила то ли гордость, то ли тщеславие. Но без обычного для этих страстей высокомерия.

– Хотя в этом есть что-то спортивное, – уже не так уверенно произнёс он и устоялся на торчавший позади невысоких зданий шпиль башни.

– Если литература на что похожа, то меньше всего на спорт, – возразил я. – Если бы все стремились быть исключительно первыми, мы бы остановились где-нибудь в районе Гомера.

– Ну зачем же исключительно, – он кивнул на башню. – Домский собор. Но ты знаешь, конечно. Deo Optimo Maximo, всеблагому величайшему Богу, XIII век. В Европе тогда развернулось настоящее соревнование по части строительства храмов. Правда, не все строились так быстро, как этот. Кёльнский собор, Йоркский собор, Реймский собор – это всё началось в XIII веке. Нотр-Дам-де-Пари начали в XII, но вся суть строительства тоже укладывается в XIII век. Миланский собор и Собор святого Вита в Праге заложили столетием позже, но это не меняет дела – они все первые. А пойдёшь сегодня сооруди что-нибудь в готическом стиле, и на это никто не обратит внимания. Пройдёт ещё сто лет, и все будут думать, что это здание тоже родом из средневековья, если, конечно, не снабдить его некими элементами, которые будут выражать его новизну. Благодаря которым ты снова станешь первым.

– Как Sagrada Família?

– Или как Александр Маккуин.

Пока Улдис говорил, я почти не отрываясь смотрел на шпиль Домского собора и думал, что искусство чуть ли не единственная сфера жизни, где эволюция не интересна. И если история человечества – это история войн, то история искусства – это череда революций, где тоже не обошлось без жертв.

Так мы стояли в раздумье наверное целый час, напоминая живые статуи. Жаль, что у наших ног не лежало шляпы – в неё бы непременно уже стали бросать деньги. Не исключено, что их могло хватить на приличный совместный ужин.

– Или наоборот, – вдруг сказал Улдис. – Многие люди не хотят жить, но сложность в том, что умирать они тоже не хотят. Извини, но у меня возникли срочные дела, – он снова протянул мне свиток. – Возьми почитай. Вдруг понравится.

– Но я не знаю языка!

– Купи словарь. У меня понятный почерк.

– А как же твой друг-суицидник?

– Я напишу ему новую записку. Вторая редакция. И прости, что это не музыка. – Он улыбнулся, всучил мне листы и зашагал в неизвестном направлении.

Позже

Она сидит на приступке и плачет. В руках платок. Один из тех, что в тёплый день обматывают вокруг шеи. Остаточная предосторожность после внезапной летней ангины. Я сам страдаю ими с детства, поэтому шейный платок для меня такая же необходимость, как вторая пара обуви. Но мне не приходилось использовать его таким тривиальным способом.

Можно рыдать в платок

Можно рыдать во сне

Каждый из нас – поток
Каждый из нас – вне

Я остановился на той стороне улицы и очень захотел ей помочь. Сделать хоть что-нибудь, что будет в моих силах, а лучше сверх. Обыденность – это то, что ещё вчера казалось невозможным. Но что же случилось?

С человеком случается всё и не случается ничего.
Главное – помолиться, было бы на кого.

Машин не было, и я перешёл дорогу. Остановился возле девушки и нарочно встал так, чтобы закрыть ей солнце. Она оторвалась от своего платка и посмотрела на меня взглядом морского котика. И тут я задал самый неуместный из всех возможных вопросов:

– Ты в порядке?

Что можно на такое ответить? Меня самого всегда раздражает, когда этот вопрос задаёт кто-то другой. Особенно в книгах, где приходится смотреть на мир глазами героя, которому до этого симпатизировал. Вопрос «Ты в порядке?» рушит весь романтический образ. Всем известно, что его задают, когда видят, что человек явно не в порядке. Что ты хочешь услышать в ответ?

Слово как птица
На волю стремится
Клетка ему жмёт

Девушка собирает лицо, из глаза течёт слеза. Я чувствую, что и мои глаза наполняются жидкостью, как бы сдержат. Она кладёт платок на колени, открывает сумку и достаёт блокнот. Находит ручку, раскрывает первую попавшуюся страницу и что-то пишет. Протягивает мне: «Я не хочу говорить. Извини. Мне надо побыть одной».

– Хорошо, – говорю я, демонстративно разворачиваюсь и возвращаюсь на то же самое место на другой стороне, откуда её увидел.

Я встаю как столб посреди улицы, не беспокоясь о прочих передвижениях. Я вижу, что она меня держит в поле зрения. Догадалась, что я за ней наблюдаю. Понимает, что теперь у неё только два выхода. Либо встать и попытаться уйти, избавившись от моего внезапного преследования, либо принять моё внимание, заверив, что с ней теперь точно всё в порядке. Я думал, она выберет первое, я почти был в этом уверен, я бы поспорил, если бы было с кем. Но она выбрала второе. Правда, не сразу.

Минут десять она наигранно посматривала по сторонам, скользя по мне взглядом, делая вид, что я ей безразличен. Может быть, она искала полицию, испугавшись моей навязчивости, а я отлично понимал, что стал навязчив ровно в тот момент, как от простого участия перешёл к наблюдению, которое всегда ведёт за собой контроль – но когда мимо прошли двое полицейских, я решил, что она вряд ли меня боится.

Потом я думал, что, может быть, она кого-то ждёт и поэтому периодически посматривает в разные стороны, чтобы не пропустить момент появления. Но этот вариант меня совершенно не беспокоил. Я уже похвалил себя за внимательность, ведь я достиг главной цели – девушка прекратила плакать.

В какой-то момент она перестала изображать отсутствие внимания к моей персоне. Поняв, что я не собираюсь уходить, кругом день и полно людей, а потому бояться ей нечего, она свернула платок вдвое, положила его себе на голову и махнула мне рукой.

Не отводи плеча,
Не отвергай богатого.
Завтра его венчать —
Кажется, в четверть пятого.

Я подошёл и присел рядом, еле сдерживаясь, чтобы снова не задать вопрос про порядок. Она тоже молчала. Потом достала из сумки флягу и, сделав глоток, протянула мне. Это было похоже на средневековый ритуал – отпив, она словно показала, что это не отравленное зелье. Я приложился к фляге, надеясь, что внутри какая-нибудь национальная литовская медовуха, вроде Стаклишкеса или обычного Мидуса, но это были «Три девятки» – Trejos devyneries. Терпкий напиток с мистическим налётом, символично делящим мир на три божественные сферы. Подземную олицетворяют девять видов семян и корней – валериана, любисток, чёрный тополь. Земную – девять видов трав и коры – тысячелистник, крушина, таволга. Небесную – девять видов цветов и фруктов – шиповник, рябина, померанец.

Можно было и догадаться. Не столько питьё, сколько лекарство. Помогавшее воинам Витовта не простужаться после сна на холодной земле.

Я вернул флягу. Спасибо.

Она снова что-то написала в блокноте: «Тебе спасибо».

– Может быть, ты расскажешь, что случилось? – всё же спросил я, полагая, что наше пространство теперь не такое уж личное.

Она задумалась на минуту, смяла в руке блокнот, повернулась ко мне и сказала:

– Ты понимаешь, я прожила уже столько лет и только сейчас поняла, сколько в мире плохих стихов.

«Предсмертная записка Улдиса номер 12»

И вдруг появилось непреодолимое желание написать тебе письмо. Я, конечно, не смогу сказать ничего нового. А впрочем, я и не собираюсь. Не хочу говорить слов, которые могут принести тебе хоть малейшее удовольствие.

Мне хочется думать, что тебе сейчас хорошо. Кривые строчки – признак болезненной неполноценности. Чувства уходящего дня, начала новой эпохи.

Я бегу от самого себя, догоняя мерцающие впереди фонарики.

Ты говорил, что любовь – это величайшая наглость, на какую только способен человек. Ты говорил, что это суть всей моей плоти, рвущейся из открытой клетки. И попадающей сразу в капкан. Но ты не сказал, что когда-нибудь я тебя забуду. А мне и осталось только читать беккетовские бредни и восхищаться его бесцельностью, упиваясь распадом любви к литературе.

Ещё вчера утром я думал, что это – вся моя жизнь. Единственное, что мне интересно. Сухие выжимки Борхеса и Сартра, отчаяние Марины, твои образы у К. К. Теперь всего этого нет. Во мне убили эту любовь – мою первую, настоящую, вечную и последнюю любовь – исключая тебя, конечно.

Я собрал все свои книги, чтобы выбросить в окно, – и не сделал этого. И я знаю теперь – почему я этого не сделал. Я понял, что слишком устал, чтобы тратить оставшиеся силы на то, что мне больше не интересно. На то, во что я потерял веру.

Я впервые почувствовал бесплодную ненависть ко всему, что когда-то читал и чем восхищался, на чём гадал и что учил наизусть. Я впервые ощутил горечь утраты, вдруг оставшись без тех, у кого учился и кого считал лучшими друзьями.

Мне больно от мысли, что я так дешево отдал свою любовь и ничего не получил взамен, кроме унижения. Я утратил часть себя. Я вырвал кусок мяса и накормил им человека, который не был голоден. Ему оно было не нужно. Ты помог обрести мне веру – ты помог её потерять.

Я кремировал лучшее в себе.
С красной строки.

Вы будете рады и останетесь довольны. Я как всегда – ничего не понял. Мы – любители искусства? – копаемся уже не в дерьме. В пепле.

И не надо про века, от них сплошная тоска. «Летучий голландец» или «Смерть в Венеции» – это не из этой оперы.

Непробиваемость почерка, как и прочее, – лишь повод к наставлению на изучение, которое в конечном итоге не имеет значения.

Стишки? – Вы думали, это банально?

Поэзия. Она должна быть такой жестокой, она должна мучить, заставлять рыдать, вырывать кишки и молить о прощении, раздавая трагические поцелуи.

И вы, как всегда, со мной не согласны. Я для вас воспоминание о лёгком недомогании и пересмешках на улице – может, мальчика-то и не было?

Я всегда думал о другом. Не о другом ком-то, а просто о другом. Мечты и желания. Теперь они выглядят как раскаяние и жутко противно. Неделями пускали слюни на подушку в чужом доме, а теперь всё умирает, и мы больше не пьём шабли. Да, мы больше не пьём шабли.

Страсть к знакам препинания довольно пагубна, особенно при приближении полудня. Ничего не играет, никто не танцует, сплошное кружево.

И этот, за соседним столиком, смотрит исподтишка и работает над походкой.

– Пёрселла у тебя нет?

– Нет, Саша, Пёрселла у меня нет.

Как же кругом много людей – попадают не плохие экземпляры – «кнак-кнак» по-нашему. Ученики института, истерики-историки со взглядом первородства. Превосходство, надменность, насмешка. Пагубное сострадание.

Вы, мракобесы, разрозненные и падшие смертники – вам ли всё это?

Отвечаем: вам!

Пей, пей от сердца полноты,
Покуда чувства оживятся!
Ты с дьяволом самим на «ты».
Тебе ли пламени бояться?

Нужно умирать и убивать других своей смертью – вот что я называю поэзией.

03. Вильнюс (Литва)

Угроздило ж оказаться здесь во время, когда мамочки да нянечки, да кто промеж них повыводили на выгул своих дитят, что все на одно лицо, и как не поперепутать их – одному богу известно, да и тот оплошает. Свят-свят.

А мне што, мне ништо – в дитятках жисть, говорят, новая закалена, так кто её туда всунул, тот пусть с ней и разбирается; где новое, где старое – всё одно, текёт себе, и на том спасибо, жрать не просит, а коли попросит, так всё отдай, ничегошеньки не сохрани, от глаз людских не спрячь, от себя не убереги, а то вон она Манька-то как в один день запротивилась, так и осталась одинёшенька, без хлеву, без хлебу да без золота; а всё цацкалась, угодить хотела, да где тут угодишь, ежели страсти такие волной пошли, что и не остановишь, а перебежчик ейный не внемлет да в ус не дует – так она и сидит-кукует, по чужим ходит, а своего не сдюжила, без божией-то подмоги. Свят-свят.

А другая – иначе, сядет насупившись, и всё по лавкам раскидано, глядишь, и тут ладно, и там скромно, и стены побелены, и кот по струнке ходит да сказку по случаю припоминает, антипода из себя изображает, а если спину выгнет, то исключительно по недомыслию – нутро знать играет, ибо если уж Марксом прозван, то должен понимать, что животине сама природа определила круг действий, и из круга этого ни-ни, што уж на другой круг зариться, или, как сказал классик, – где это видано, чтоб такое пересечение кругов совершать? Это што ж будет, ежели я на твой круг полезу, а ты на моём раскорячишься? Сумятица одна, нарушение божьего промысла и цели его великоустроенной. Свят-свят.

А больно хорошо, когда и светило ярко, и небо голубеет, и листья как надобно расположены, и ни ветерка тебе, ни лужицы; дитяткам оно канеш скушно – им бы скакать резво да всё ноги мочить, в грязюке валяться, столбы сшибать да лбами меряться – у кого крепше, растить в себе, значит, индивидуума со всеми его прегрешениями, а то ну как спрос будет, ну как ответ держать – где, мол, дрянь такая наследил, признавайся как на духу, пока карточку в архиве не испросил, сам луччи признавайся, скотина, творил бесчинство или нет, м-м? Кого спрашиваю? И неча тут уши скрывать! По ухам-то всё видно, уши – они первое средство; а то руки помыл, ноги помыл, лицо окропил водой святою, а уши што – всё стерпят? Стерпят-то они стерпят, да тебе ж хуже – зря, што ль, за уши таскают? Нет, не зря, ибо уши есть средство постижения истины: коли загрязнены, так и сам буишь, как дупло, в кое всякий мусор накидан да скорлупы орешьи, а коли проходы прочищены, то и путь открыт, и правда в них так и льётся, в одно входит, из другого выходит, милостью всевышней очищаясь от скверны и лести поганой. Свят-свят.

А кто произрастает в благолепии – тот жизни не смыслит, таков уж уговор; иной скажет – как же произрастать в благолепии, когда окрест печали великия да нищета, да помои, что ни света белого не видеть, ни живот толком набить, а другой ответит, что это всё стенания и раз уж доля выпала, то тащи, а как тащить, если ни одной сторонюшки не узнать, если око чувствует, что весь мир един и нету в нём ни стараний, ни благословления, а токмо упадок, токмо лихо, токмо маета безродная, и первый тогда сызнова поднатужится да и скажет, что, мол, глянь-ка на дитятю – где у ей маета случается? Во-о-о-от, а если уж привыче быть един, то всё от страху, от озноба душевного, от того, что некуда приложиться, а уж если приложишься, то што ж теперь – так и будешь забор всю жисть подпирать? Тут уж или забор одряхлеет, или сам скопытишься, а то и всё разом – без памяти. Свят-свят.

Вона дитятко к матушке подбежало, ладошки чумазые, личико румяное, заморские речи глаголет, ни слова не внять, будто что во рту булькает, шепелявит, трескает, а ну леденцов под щёки набрало? А матушка кивает, радуется, ладошки оттирает, лобызнуть норовит да пла-тьишко поправить, того и гляди в пляс кинется, чудеса, да и только, но держать не вздумай, уж

подруженьки заждались, уж кричат – подь сюды, без тебя ни дело не делается, ни спор ни спорится; а девчушка хороша до чего, прям кружевная вся, да видать послушница, разузнать бы откуда, да что, да как, да почему, да долго ли, да почём нынче; а и спрошу, чай не перепугаеца, не прогонит тряпицей, а уж коль прогонит, то и тому воля есть. Свят-свят.

А и скажи, голуба, откуда, да что, да как, да почему, да долго ли, да почём нынче, интерес, значит, показываю и уважение, чтоб с горестью справиться да прочувствовать радость человечью, мощь его нестигаемую, невозможность устоять перед страстью земной и небесной, ибо во страсти и заключены альфа и омега всего сущего, а в особенности того, что полагает себя несущественным и явится только призраком во плоти, что парит аки птица в эмпиреях, а то камнем под холмы уходит, не будучи тяготы ни прошлым, ни будущим, ни настоящим, а всё для него – мираж, или сказать проще – миракыл. Свят-свят.

Так скажи, голуба, не утай правды, движением губ не обмани! А ведь и не утаит, и скажет, и вытворит слово человечесьё, и, глядишь, не оставит камня на камне, а мне только то и нужно, покуда удача выпала. Свят-свят.

Дитя сие – речет – уж совсем другое, со вторым оно как, со вторым оно легче во сто крат, и опыт, и прибыток, и душевное расположение имеется, и всё устремлено к тому, чтобы возросла эта песчинка в камень драгоценный, в украшения ежели не перста, то короны, блеском затмевающей, ежели не светило, то спутник, но не возгордилась чтоб, а исключительно ради умножения красоты и счастья, ради правды воистину не утаённой. Свят-свят.

А первое дитя – первое в трудах да заботах, в страхах да чаяньях, в опытах да сущностях физических, ибо глупы мы, глупы бессовестно и беспросветно, и глупостью своей упиваемся, пока смерть не прийде, и так снова и снова, а там уж что вырастет, то и вырастет, и как преломить невзгоду сию, где взять способности к проникновению в глубь самого человека да подать ему, что он есть не токмо плоть и кровь, не токмо кость и душевное восприятие, но и сам ныне потомок, а в веках – пращур, нить разорванная, в гистории затерянная и расположенная тут не по воле моей, а по случайности дикой, и случайность эту держать надобно за уздцы, ибо ускользает и время, и красота, и сон, и сила, и любовь, и слово, а как удержать – это и самому богу неведомо. Свят-свят.

Первое дитя – оно корнями в почву, руками в небо, глазами в ветер, ушами в звёзды, носом дождь чувствует, пятнами огонь выбивает; лик, что облако; семнадцати годов от роду, сама себе хозяйка, да только все мы в те лета словно пуп земли – мыслим, что всё хорошее да пригожее из-за нас случается, а уж плохое, то и подавно. Свят-свят.

04. Минск (Беларусь)

– Что у вас там происходит? – спрашивает меня друг Никита.

Мы условились встретиться с ним ещё месяц назад, когда я только замыслил свой поход, и теперь сидим в кафе на Революционной улице, неподалёку от площади Свободы. Именно той свободы, которой в этой стране отродясь не было. Где-то они всё же свернули не туда.

– Что *у нас* происходит? – отвечаю я, сбиваясь в интонации на этом «у нас», словно пытаюсь понять сиюсекундно: «у нас» – это где? – Что *у вас* происходит, скажи мне лучше. А впрочем, все эти разговоры про политику не лучшим образом сказываются на пищеварении. Что у вас хорошо – это воздух. Всё время хочется разговаривать цитатами из русских классиков.

– Прямо-таки из русских?

– Из русских. Хотя чем взрослее я становлюсь, тем больше уверяюсь, что классики интернациональны. Или, если хочешь, космополитны.

– И Достоевский?

– Достоевский в первых рядах. Всё русское он увидел издалека. Я бы не исключал вероятности, что он стеснялся своей русскости. Хотя в его время Россия была не так безнадёжна.

– Как ты можешь утверждать – какой была Россия в другое время, пока тебя там не было? Историческое и политическое устройство, социальные трения, описанные в учебниках и мемуарах, – это одно, а истинное лицо улицы – совсем другое.

– В этом ты прав. Я не могу знать. Но мне кажется, что Россия в XVIII—XIX веках только и делала, что пыталась завоевать авторитет.

– В глазах просвещённой Европы?

– По крайней мере, тогда никто не отрицал, что Европа действительно просвещена...

– А сейчас?

– А сейчас России не важен собственный имидж. Она ведёт себя, как барин-самодур, с которым никто не хочет дружить. Но не потому, что уже нет никаких шансов, а потому, что он сам ни с кем дружить не хочет. Он хочет повелевать и раздавать щелобаны, хочет поклонения, хочет, чтобы от него зависели, но это всё не дружба.

– Народ безмолвствует?

– Народ даже безмолвствовать как следует разучился. Иногда я думаю, что в России уже нет даже народа. Есть бантик, привязанный к кошачьему хвосту, – так и носится по кругу за больной головой.

– И гремит громко. Официант! «Зубровки»!

Официант приносит «Зубровку». Наша беседа растекается, становясь похожей на елизаветинскую драму.

С.: Свобода – понятие весьма и весьма неустойчивое.

Н.: Что не мешает ему обладать довольно устойчивой ценностью. Здесь мы давно уже ни за что не боремся, но помним что сколько стоит.

С.: Я всё равно не смогу сойти с позиций человеческого равенства.

Н.: Ты давно с них сошёл и даже не представляешь, как далеко находишься.

С.: Но есть же общечеловеческие ценности.

Н.: Нет никаких общечеловеческих ценностей. И человека как ценности тоже нет. Более того, человека как общности тоже не существует. Мы все – разрозненные единицы. Случайно сталкивающиеся частицы, порой приводящие к зарождению новой жизни. При этом мы не вполне понимаем – зачем новую жизнь зарождать. Такое вялотекущее траханье со спецэффектами.

С.: Это мне напоминает наши юношеские разговоры о смысле жизни.

Н.: О да! Они у всех одинаковые. Но мы выросли. И превратились во взрослых людей, не успев ни заметить, ни понять, как это произошло. Стать взрослым – значит признаться себе в том, что ты такой же мудака, как все остальные.

С.: И немедленно отделиться от остальных, чтобы было удобней сталкиваться.

Н.: Но большинство впадает в панику от одной мысли о случайности всего сущего и тут же начинает объединяться, стремясь ощутить общность со всем миром.

С.: Тайно про себя полагая, что, несмотря на общность, я – весь из себя конкретный, я – явно отличаюсь от всех остальных.

Н.: Только другим об этом знать не обязательно.

С.: И так по новой. Движение по спирали, замыкающей саму себя. Что не отменяет идеи всеобщего равенства – перед законом, перед людьми, перед богом, перед смертью...

Н.: Всеобщее равенство означает только то, что каждый волен думать про себя, что он выше других. Что он вообще другой. Хотя назови его другим – и он тебе морду набьёт, подумав невесть что. Свободу как категорию вообще надо запретить. Придумать что угодно стороннее, называть это любыми словами, но саму свободу вычеркнуть из всех списков. Чтoб не путаться. Чтoб точно понимать, о чём речь.

С.: Можно подумать, ты не понимаешь, о чём говоришь, когда говоришь о свободе!

Н.: Да нет, я, положим, понимаю. И все остальные понимают. Только мы все понимаем разное. Кто-то говорит о свободе волеизъявления, кто-то о свободе слова, кто-то о свободе действий... Пока существовало рабство, с понятием свободы вообще не было никаких проблем. Всё было понятно: если ты не раб, значит, – свободный человек. Сегодня понятие свободы настолько расширилось, что даже если ты свободный человек, это ещё не значит, что ты не раб. Вот ты можешь назвать себя свободным человеком?

С.: С точки зрения классического раба – конечно.

Н.: Нет, вообще свободным ты себя ощущаешь?

С.: Тут вряд ли есть однозначный ответ, однозначный путь к...

Н.: Да при чём тут путь – ты можешь выбрать: скорее да или скорее нет? Как в тесте.

С.: Скорее нет. Но Кант предлагал не путать зависимость от человека и зависимость от государства. Одно дело – когда ты подчиняешься человеку, и совсем другое – когда подчиняешься закону. Поэтому я вроде как не подчиняюсь никакому конкретному человеку, но в то же время – действую в рамках закона.

Н.: Это мне напоминает одну российскую историю начала XIX века, известную ныне как восстание декабристов. Точнее, я говорю о том, что ему предшествовало. Все эти люди, из приличных семей и даже с титулами, в какой-то момент пришли к очень важному разделению. Для них Государь и Государство перестали быть одним и тем же. И если монарх правит плохо и это угрожает государству, то его можно и снести более или менее болезненным способом.

С.: Ну так ведь было всегда – в истории полно заговоров и переворотов.

Н.: Но есть разница! Одно дело – борьба за власть, прикрытая устремлениями ко благу страны, и другое – устремление ко благу страны, где власть воспринимается как повинность.

С.: Такое проктологическое удовольствие – если не я, то кто.

Н.: Вроде того. Но теперь возвращаемся к Канту. Что значит «подчиняться закону, но не подчиняться конкретному человеку»? Закон чаще всего и есть конкретный человек. Оглянись кругом. Хотя нам с тобой даже головой по сторонам вертеть не надо. Мы пребываем в условиях отдельного человека. И выполняем, с тем или иным успехом, волю одного человека, прикрывающегося интересами государства.

С.: Даже если пытаемся этой воле противиться.

Н.: Даже если пытаемся этой воле противиться. Даже если мы стараемся не идти на поводу, общие условия не позволяют нам сделать лишний шаг в сторону. Мы, как собаки, которых не сажают на цепь, но не пускают дальше двора.

С.: Зато лаять разрешают.

Н.: Но тоже по расписанию. Официант! «Зубровки»! Дзякуй!

С.: Это уже настоящая толстовщина.

Н.: Да не имеет никакого значения, что это – толстовщина, достоевщина, кафкианство, сартриатизм, какие ещё у страдальцев любимые авторы? Каждый приличный человек так или иначе хоть раз в жизни приходил к попытке осознания свободы. И уверялся в том, что это утопия со всем классическим безумством в духе того, что «моя свобода кончается там, где начинается свобода другого человека».

С.: Мне больше нравится – The right to swing my fist ends where the other man's nose begins. Тут есть чёткие границы. Вот моя рука, вот твой нос. Мы оба должны быть заинтересованы в том, чтобы они не соприкасались. Особенно, если наоборот.

Н.: Да, это же отвечает и старинному постулату «не суй свой нос не в своё дело». Но проблема как раз в том, что большинство не способно разделить эти пункты. Оно не способно понять, где его дело, а где не его. Ты ведь можешь искренне считать это дело своим – не важно, решается ли вопрос государственной важности или идёт спор за последний апельсин в лавке. Свобода абсолютно связана с понятием справедливости, и я надеюсь, ты не станешь утверждать, что справедливость существует.

С.: Я могу лишь утверждать, что она торжествует. Что как раз говорит о её бесконечной борьбе. Справедливость это как счастье. И то, и другое мы ждём откуда-то извне, и редко кто способен обнаружить счастье и справедливость внутри себя.

Н.: Тоже очень расхожие слова. Это всё моменты, которые мы пытаемся определить, и в итоге путаемся в самих определениях – с каждым следующим шагом предыдущее объяснение перестаёт устраивать.

С.: Выходит, что счастье и справедливость, да и свободу, можно трактовать?

Н.: Как и закон. Никогда не понимал, что это вообще значит – трактовать закон. То есть я понимаю, но не понимаю, что это за законы такие, которые можно трактовать. Когда слышу подобную реплику – бежать хочется. Она мне говорит тут недавно: «Этот закон можно трактовать и иначе». Я отвечаю: «Вы соображаете вообще, что вы говорите? Что значит – трактовать закон? Значит, это плохой закон». Есть красный сигнал светофора, если ты пошёл на красный, значит, ты не прав, всё. Если тебя сбивает машина, которая едет на зелёный, пока ты идёшь на красный, значит, ты мудак и сам во всём виноват. Водителя отпустить, тебя посадить в тюрьму, даже если все ноги переломаны. И трактовать тут нечего.

С.: А если обстоятельства? Если ты бежишь через дорогу, помочь человеку с сердечным приступом, который сейчас зайдёт через минуту?

Н.: Согласен. Пишем пункт два. В случае если твои помыслы чисты, сажать в тюрьму не будем. Но ты бежишь спасать человека на красный свет на свой риск. Кроме тебя в этом никто не виноват. И вот тут появляется свобода, которую ты выбираешь.

С.: Мне кажется, ты очень категоричен.

Н.: Я просто неуютно себя чувствую в размытых формулировках. Мне нужно чётко понимать – что можно и что нельзя. Все остальные трактовки – для манипуляций и выкачивания бабла. И если говорить о свободе, я хочу иметь свободу задавать вопросы, если непонятно, и получать ответы на нормальном человеческом языке. Я хочу, чтобы у людей была позиция, и чтобы они могли внятно объяснить – почему они думают так, как думают. На какой фундамент опираются?

С.: И вот это уже не свобода, а совершеннейшая бессмыслица.

Н.: Которую я себе объясняю очень легко. Мы можем бесконечно вести разговоры о свободе, справедливости, счастье, равных правах и так далее, напирая на то, что важнейшие вопросы должны решаться путём референдума, всеобщих выборов, голосами большинства и т. д., но посмотри вокруг ещё раз. Вспомни людей, с которыми тебе приходится вольно или

невольно сталкиваться на улицах, в кабинетах, в общественном транспорте, на больших мероприятиях. Вспомни, посмотри и ответь себе на вопрос: ты действительно хочешь, чтобы все эти люди имели возможность принимать решение и влиять на развитие общества? На твоё развитие? Ты серьёзно этого хочешь?

05. Киев (Украина)

– Надеюсь, ты расскажешь мне что-нибудь безнадёжно-захватывающее.

Я заглядываю в зрачки Макс, пытаюсь оценить глубину его ко мне чувства. Семь лет назад я беспощадно влюбился в него с первого взгляда, и теперь он чувствует ответственность за былую неразделённость, усугублённую расстояниями. Но я давно уже воспринимаю свои увлечения исключительно с опустошительной стороны. Они наполняют меня словами, которые я затем не без труда выплёвываю. А чуть позже с облегчением выкидываю. Это позволяет мне пребывать в иллюзии действия. В иллюзии, что со мной что-то происходит.

Макс, по обыкновению, цепляется за вопрос и начинает трещать без умолку, что в его случае скорее достоинство, чем недостаток. Благодаря какому-то нелепому, необыкновенному таланту он всё время говорит об интересных вещах, хотя из уст другого человека они прозвучали бы скучно. В одну кучу валятся одноразовые провальные спектакли, открытие нового бара, приезд старого друга, глупые изменения в законодательстве, новая машина, отъезд старого друга, ремонт набережной, расширение полномочий, перевыпуск старой коллекции Nike и напоминание, что я в Киеве уже – в какой? – в седьмой раз, и значит...

– Тебе уже неприлично за столько времени так ни разу и не решиться подняться на эту циклопическую колокольню, на Святую Софию. Уже никто не помнит, сколько в ней метров, а ты ещё там не был.

– Семьдесят шесть.

– Но это со шляпой, а если внутри идти по кругу – меньше будет. Метров сорок пять. К тому же она, наверное, проседает и в следующий раз будет на сантиметр ниже. Архитектура – вещь ненадёжная. Несмотря на попытки человека устремиться к небу, сама по себе она всё время упирается в землю. Поэтому пойдём-ка, дружок, прогуляемся.

Я повиновался. В общем, мне было действительно совершенно всё равно куда идти – в этом городе я излазил многие закоулки, включая те, о которых и местные не слыхали, поэтому давно не тянусь ни к чему новому. Мне важнее присутствие Макса. Это решает сразу несколько вопросов, и самый важный из них – отсутствие необходимости действовать согласно плану. Возможность появления случайных новых людей будет сведена к нулю. Из трёх миллионов жителей города Макс знаком с доброй половиной. И от знакомства с другой половиной его удерживает исключительно объективный взгляд на жизнь.

– Половина любого города мира не стоит вообще никакого внимания. Я порой вот так выхожу на улицу и думаю: «Господи, кто все эти люди, чем они заняты, зачем они вообще?» Потом понимаю, что это во мне фашизм просыпается и срочно ухожу куда-нибудь, где все свои. Потому что фашизм надо давить на корню. Я вообще недавно понял, что все люди – фашисты. Просто каждый с этим справляется по своему – кто-то поудачней, кто-то по не очень. Особо оголтелые есть, но это уже в психиатрическое, даже говорить не хочется. Но самое страшное, самое удивительное со мной тут озарение произошло, я вдруг раз и обнаружил один положительный момент в том, что к нам Гитлер пришёл. Представляешь? Такое откровение постигло, что я даже испугался немного.

– А у тебя ж воевали?

Макса прямо передёрнуло:

– Ну да! И бабушка, и дедушка, и другой дедушка, и у них братьев там поубивало, кошмар, я помню эти рассказы, поэтому любое фашистское во мне кровь кипит. Поэтому я и обалдел сам от себя, а потом думаю: «Ну а что такое, я же мыслящее существо пока как-никак – в церковь не хожу, телевизор не смотрю, дом в чистоте – чего мне самого себя бояться?»

– И?

– А! Но это не озарение никакое, это школьные годы чудесные до меня наконец дошли. Я вдруг понял, что Гитлер к нам пришёл только затем, чтобы мы поняли – какой это ужас, и сделали всё, чтобы это не повторилось. То есть исторически или даже антропологически это очень верный момент. Вот подумай – на несколько лет позже, и всё! Атомная бомба – и адъё! Потому и нужен был фашизм этот проклятый, чтоб мы в себе его задавили.

Несмотря на внезапную серьёзность темы, Макс улыбался, откровенно наслаждаясь солнечными лучами. Я было решил, что лучше поговорить о чём-нибудь менее болезненном, но почему-то спросил:

– Такими жертвами?

– А всё равно бы война была рано или поздно. Ну дотянули бы мы до сего дня, и что? С современными войсками и технологиями никто б пять лет не воевал. А жертв было б только больше. И я бы, честно говоря, не рискнул поставить на нас. Пусть это звучит непатриотично, а кто бы рискнул? В какой другой стране сейчас кто-то может с уверенностью сказать – «мы победим»? Кто? Давай сюда свернём.

– А что там?

– Ничего. Прорезная улица, мы ж к Софии идём.

Я огляделся по сторонам.

– К Софии разве не через Майдан?

– Мы со спины подойдём, так тоже можно. Не всё же в этой стране через Майдан делается.

Мы свернули на Прорезную. Я стал представлять, как этот диалог может выглядеть в моих записях. Подумал, не слишком ли много вокруг меня стало диалогов. Но тут же вспомнил, что люди, в общем, только и занимаются тем, что разговаривают. Особенно если это старые приятели, которые давно не виделись. Я успокоился и нацепил солнечные очки.

– А к тому же, раз уж ты про жертвы, – продолжал Макс, – то такое число жертв на совести не только Гитлера, но и Сталина. Это называется неэффективный менеджмент. Если б он с Гитлером не цацкался, Польшу с ним не делил радостно и не выстраивал свой фашизм на отдельно взятой, да плюс ещё весьма крупной территории, а сразу бы человеком себя показал, может, и войны бы не было. Но так как он не человек, а извините, говно, то говорить о том, как некоторые любят, что Сталин войну выиграл, просто преступно.

– Черчилль тоже не сразу в Гитлере вселенское зло распознал.

– Это всё так, просто мне не нравится, когда победу делят, опираясь на погибших, что, мол, у нас вон сколько, значит, мы главнее. Это позор, что у нас столько людей полегло. Да, мы в итоге справились, но мы не смогли сохранить жизнь миллионам, потому что верховный менеджер выбрал не ту стратегию и поставил компанию на грань банкротства. Не говоря уж о кадровой политике.

– Не горячись, я на твоей стороне, – сказал я, – и, пожалуй, ты прав. У меня сейчас это вызывает какие-то смутные ассоциации, за которые я пытаюсь уцепиться, но почему-то плохо получается. Ты помнишь, у Стивена Фрая есть книжка «Как творить историю»? Я растерял подробности, но суть в том, что там какие-то умные ребята изобрели-таки машину времени и отправились в прошлое, чтобы убить то ли Гитлера в детстве, то ли его родителей, а может, и не убить, но в общем сделать так, чтобы Гитлера не было.

Макс посмотрел на меня почти удивлённо.

– Я у Фрая знаю только музыкальные истории и всякие нелепости, но что-то подобное было у Кинга.

– Ненавижу такие ситуации, – сказал я.

– Почему?

– Теперь придётся выяснять – кто был раньше.

– Я за Фрая. Этот Кинг какой-то совсем новый, про него шумели чуть ли не вчера. Там тоже про машину времени, но про Кеннеди. Точно! «11/22/63» – дата убийства Кеннеди.

– И чем кончилось?

– Понятия не имею, я не читал. Я у Кинга люблю только «Сияние», остальное мне не пошло. Да и то тут Кубрик всему виной. Хотя, может, в оригинале он интересней, я ж в переводе читаю. На английском никогда, наверное, не доберусь. А чем Фрай кончился?

Я честно напряг память, но обнаружил, что помню книгу только в общих чертах. То есть я помню сам замысел, но совершенно позабыл, чем в итоге она закончилась. Дав себе обещание при случае купить и прочесть Фрая заново, я с чистой совестью ответил:

– Дело не в том, чем кончилось, дело в самой идее. Гитлер действительно на свет не появился. Но это не помешало нацистам прийти к власти с ещё более сильным лидером, благодаря которому весь гитлеровский план удался. Ну то есть план, который мы знаем, как гитлеровский. Германия победила в войне со всеми кровавыми вытекающими. Понимаешь?

– Я понимаю. И как это относится к... – он сделал несколько расплывчатых пассов руками. – Как это относится?

– Да я подумал, что ты нашёл положительное в Гитлере как раз потому, что он проиграл. Именно поражение Германии в войне позволяет нам задаваться вопросом: почему это вообще произошло? И пытаться найти хоть какое-то оправдание.

Макс вдруг встрепенулся, но не сменил тона.

– Так нет же никакого оправдания! Я не оправдываю Гитлера ни в коем разе! Я всего лишь говорю, что только сейчас усвоил главный урок войны. Раньше я просто знал, что это плохо. Что Гитлер – гад, а мы герои. А теперь я не просто знаю. Я понял. Это же очень большая разница.

– Извини, не улавливаю.

– Современные фашисты – они почему фашисты?

– Почему?

– Заблуждения. Они фашисты, потому что им это внушили. Кому-то выгодно, чтобы было такое движение. Фашизм ведь – это убеждения, это ж не врождённое качество.

Последняя фраза Макса хоть и была утверждением, но звучала как вопрос или как полувопрос, именно так обычно строят интонацию, когда предполагается некоторое одобрение со стороны слушателя.

– Убеждения, – кивнул я. – Врождённых качеств вообще очень мало. У меня так и вовсе ни одного.

– Это всем известно, – Макс оценил шутку и тут же продолжил: – То есть любой фашизм не более чем заблуждение. Это как с демократией.

– Ты думаешь, демократия – это тоже заблуждения? Утопия? Хотя если рассматривать демократию как власть народа – то, конечно, утопия.

– Главное, чтоб она не стала антиутопией. А то в некоторых странах кричат про демократию, а сами уже печи разжигают да всё думают, на кого б натравить массы. О чём задумался?

Я действительно уставился на один из стоящих вдоль тротуара фонарей, надеясь, что за тёмными очками смогу скрыть нахлынувшую отвлечённость. Но Макса не проведёшь.

– Да я подумал, что говорил почти о том же два дня назад с Никитой.

– Никита? Твой белорусский друг, с которым ты как-то приезжал?

– Да, вчера вечером он сажал меня на поезд.

– И как он?

Макс, казалось, тут же позабыл, о чём мы только что разговаривали, и начал запутывать новую тему, но я знал, что это как свежий бокал лимонада с трубочкой – необходимая минутка, чтобы передохнуть.

– В целом нормально. Собирается эмигрировать.

– Куда?

– Он ещё не решил. Может, в Берлин, может, в Амстердам, может, в Окленд.

– Это в Новой Зеландии? Очень далеко. Нам направо.

Свернув на Владимирскую улицу, Макс решил было вернуться к неоконченному разговору, но его мысль, как обычно, уже неслась где-то впереди.

– Я вообще думаю, что нам инопланетяне нужны, чтоб мы себя людьми почувствовали. Чтоб сознание открылось. Чтоб во всю силу почувствовать вот это военное слово «свой». А то делим чёрт знает что.

– Почему чёрт знает что? Ресурсы делим. Так всегда было и всегда будет. Инопланетяне на нас тоже из-за ресурсов нападут, а не просто в танчики поиграть.

– Да понятно, что ресурсы. Только отсюда фашизм ещё непонятней. Потому что, когда война за землю, за богатство, за власть, – она хотя бы понятна. Она ничем не отличается от обычного детского хулиганства, когда у соседского мальчика есть игрушка, а у тебя нет. И ты пошёл и отобрал. Тут всё ясно. Это элементарное «хочу». И другое дело, когда поднимаешь войска, чтобы просто уничтожить всё, что тебе кажется неправильным. Потому что ты так решил. Потому что у тебя травма детства. Потому что не нашёлся никто умный, чтобы объяснить, что если человек другой, это ещё не значит, что он не прав. Это значит, что ты про него ничего не знаешь и не хочешь сделать ни единого шага, чтобы узнать. И можно было мне сколько угодно кричать, что немцы плохие, что итальянцы плохие, что фашизм плохо, и я мог сколько угодно жить с этим знанием и даже не попытаться усомниться. Но я усомнился. И не сошёл с этих позиций.

– Всеобщая правда стала твоей правдой?

– Вроде того, хотя я не понимаю, что такое всеобщая правда. Наверное, это я тоже как-нибудь потом пойму. Ой, вот тут дом такой красивый. Но я бы не хотел тут жить, в переулках где-нибудь лучше. Даже на Костёльной лучше. Ну, а у тебя что?

Я пожал плечами.

– А что у меня... я еду.

– Ты молодец. Я бы тоже хотел. Но сейчас так много работы.

– Это хорошо?

– Конечно, хорошо. Но, может, я и выберусь куда к началу месяца. Я тебе напишу или позвоню, может, приеду туда, где ты будешь. Встретимся снова. А вот и София.

Купол колокольни, служившей ещё и воротами при входе на территорию самого собора, блестел золотом и в свете солнечных лучей буквально ослеплял. Очки не помогали, и лучше было не смотреть на купол вовсе. Поэтому почти сразу мы подошли к арке в основании, хотя у меня не было желания идти внутрь. Я был в Софийском соборе несколько раз и очень хорошо ощущал его атмосферу даже в момент воспоминаний, но Макс не сдавался.

– Так и быть, я сам куплю билеты, чтобы у тебя было полное ощущение аттракциона, – сказал Макс и добавил уже в окошко: – Два, будь ласка. Дякую.

Когда мы прошли дальше, я почувствовал, как во мне просыпается страх. Сначала лёгкой тяжестью в животе, потом покалыванием в ногах. Поднявшись на первый уровень, я ощутил головокружение. Но не паническое, а как в минуты особого чувственного состояния – в моменты крайней влюблённости, когда лучше не произносить никаких слов, а сосредоточиться на дыхании.

– Я всё же не уверен, что хочу туда подняться, – сказал я, задрав голову и рассматривая балки, поддерживающие... даже не знаю, как называются все эти площадки, расположенные вдоль стен, чтобы по ним можно было ходить. Перекрытия? Этажи? Лестницы?

– Эта прогулка ничем не отличается от любой другой. До сих пор мы шли прямо, по горизонтали, а теперь пойдём спирально по вертикали. А суть не меняется.

Я ещё раз посмотрел наверх, вперившись взглядом в деревянный потолок, и согласно кивнул. В конце концов, это всего лишь дом с дыркой посередине.

Макс мужественно тряхнул меня за плечо, и мы подошли к первой железной лестнице, по которой предстояло подняться на следующий уровень. Сказать, что я боялся, – всё равно что промолчать. Каждый шаг давался с трудом. Именно в эти минуты я понял, что такое «ватные ноги», – мне казалось, что сейчас я наступлю и упаду. Я не так сильно боялся того, что балки не выдержат, как беспокоился за то, как я выгляжу со стороны. И это лишало меня остатков уверенности.

– Это ужас как страшно, – сказал я, схватившись за руку Макса, когда мы добрались до очередного поворота. – У меня сейчас прямо откровения внутри происходят.

– Откровения – это хорошо, – Макс выглядел весьма уверенным. – Нам осталось немного.

– Звучит оптимистично.

– То есть я хотел сказать – вершина близко.

Преодолев в молчании остаток пути, мы действительно меньше чем через полминуты оказались на самом верху.

– Смотри, какая красота! – Макс махнул рукой в неопределённом направлении, где, по его мнению, должна была располагаться красота, и она там действительно располагалась.

Однако мне пока было не до того. Я пытался понять, отчего этот подъём потребовал таких усилий.

– Честно говоря, никакой красоты не наблюдаю, – ответил я, вцепившись в стену, – но раз уж мы тут – будем наслаждаться.

– Вообще, ты прав. Киев надо смотреть снизу. Не так, конечно, как Петербург или Амстердам, где лучше совсем с воды, с лодочки, но сверху город и правда не очень понятен. Разве что Михайловский монастырь все любят отсюда разглядывать.

– Златоверхий. Это же с него пошла мода делать золотые купола?

– Да, говорят, что так. Ну правда же тут совсем не страшно?

– Подниматься было страшнее.

– Так, а я о чём? – улыбка Макса ослепляла не хуже колокольного купола. – Я ж и говорю, что это всё предрассудки. Что один человек другого в печь пихает исключительно по недомыслию. Не со злости даже, а только потому, что истинного не видит.

– Где ж его взять-то, истинное?

– Как где? Глаза-то раскрой! Красота ж кругом! Главное – точку правильную выбрать.

06. Кишинёв (Молдова)

Из Киева я уезжал с беспокойным сердцем. Так человек всегда покидает места, где продолжает жить его часть, – волдемортовский крестраж, никем так и не найденный детский секретик с карамельной обёрткой под зелёным бутылочным стёклышком.

Предполагая подобные чувства, я заранее взял билет на поезд, уходящий в самое опустошённое время – почти в четыре часа утра. До половины четвёртого Макс развлекал меня в самых новых и модных киевских заведениях и даже попытался отправиться со мной на вокзал, но я, как обычно, как в любое из прошлых проявлений, сказал, что прекрасно доберусь сам, тем более что, и это тоже стало традицией, хочу побыть наедине с ночным городом последние пятнадцать минут. Пьяная прощальная улыбка через окно такси.

Я очень надеялся, что в люксе окажусь один. Состав был московский, и мне совсем не хотелось будить кого-то среди ночи. Всё моё настроение располагало к одиночеству.

Открыв дверь купе, я облегчённо вздохнул и, скинув кеды, уселся на мягкую полку, подбрав под себя ноги. Через несколько минут поезд тронулся, покидая полуосвещённый перрон. Вползая в предрассветную мглу, я вспоминал, как уезжал из Киева в первый раз.

То трёхдневное путешествие посреди февраля обернулось большой любовью, к которой, я думал, вовсе уже не способен. Я ловил это чувство и боялся его упустить, не понимая, как вообще возможно полюбить нечто неодушевлённое и в целом – довольно абстрактное. Я стал сравнивать своё состояние с любовью к музыке, книгам, весеннему солнцу – ко всему тому, что тоже не было наделено способностью дать ответ. Я разрывался между линиями, проскальзывающими через мозг, в невозможности толком ухватиться ни за одну из них.

Можно ли считать любовью любовь безответную или это только желание избавиться от окружающего вакуума?

Можно ли считать любовью любовь к музыке или это только способ постижения мира?

Можно ли полюбить город так, как любишь человека, испытывая физическую нехватку, или это только ощущение красоты и комфорта, наступающее на перекрёстках?

Ожидая в снятой на три дня квартире машину в аэропорт, мы вдруг подумали – не остаться ли ещё на день?

– Может, останемся ещё на день? – спросила Диана, закуривая перцовку длинной сигаретой.

– Я бы сейчас хотел этого больше всего на свете, – ответил я, впервые жалея, что бросил курить. – Но нет. Завтра будет ещё хуже. Сегодня мы хотя бы морально готовы.

Самолёт вылетел вовремя. Домой мы приехали молча. Следующие три дня я никуда не выходил, словно мне нужно было время на акклиматизацию, на привычку к здешнему воздуху. К моему воздуху.

И теперь я снова уезжаю из Киева, зная, что ещё сюда вернусь. Но я впервые уезжаю не домой. Утверждая традиционность воспоминаний.

Заснул я не раздеваясь, и потому проснувшись ощутил некоторую брезгливость к самому себе. Спать в одежде всё же довольно сомнительное удовольствие, если, конечно, речь не идёт о борьбе с холодом. Первой мыслью был душ, второй – чай. Третьей – который час. Оказалось, половина третьего. За окном лупил дождь, и у меня было больше двух часов до прибытия. Умывшись и дождавшись поездного чая, всегда настолько отличающегося на вкус от всех остальных, что его пора бы ввести в меню дорогих ресторанов, я решил провести время за просмотром фотографий, сделанных за время оставшегося позади пути, чтобы заодно удалить откровенно неудачные.

Не успел я ввести защитный четырёхзначный код айфона, настроенный на год рождения Малера, как в дверь постучали.

– Открыто!

Купе отворилось. В проёме стояла девушка лет двадцати пяти, неявной национальности.

– Извините, здравствуйте, мне очень неловко, но я со вчера мучаюсь, ещё когда на перроне в Киеве вас увидела.

У неё был тихий, кто-то бы сказал – вкрадчивый, голос, с тонким привкусом неуверенности в себе. Это было странно, она была очень симпатичной, и я не думаю, что у неё были большие проблемы с мужчинами. Впрочем, внешность – лишь первый этап полосы препятствий.

– Я... можно я войду? – спросила она.

– Зачем? – ответил я вопросом на вопрос, надеясь, что это прозвучало не очень грубо.

– Я... вы меня не помните? – она выдержала едва ощутимую паузу. – Не помните, конечно, да. А я была на ваших концертах, на нескольких, – сказала она чуть смелее, хотя я понимал, что дело тут не в страхе.

И не в застенчивости. Она произносила слова так не потому, что стеснялась или опасалась чего-то – быть обиженной, непонятой, разочарованной, а потому, что у неё, в силу одной из известных ей причин, сложилась такая манера. Есть люди, которые бесцеремонно врываются в чужую жизнь, то ли считая, что нет никаких границ, то ли действительно полагая, что их поведение уместно. Есть и те, для кого такое свойское поведение с первого слова как раз результат неловкости, которую они испытывают в обществе и которую скрывают именно таким нарочитым образом. Есть люди действительно стесняющиеся до такой степени, что не пытаются это стеснение скрыть. Их вежливость порой доходит до абсурда, так что очень скоро приходится сказать им, чтоб они перестали, наконец, извиняться. Излишняя вежливость порой хуже самой откровенной грубости. Это как не к месту поставленные запятые. К тому же в этом есть какое-то самоуничтожение, граничащее с потерей достоинства.

Но в моей гостье я не чувствовал ничего подобного. Её кажущаяся застенчивость была очень органичной.

– У вас же есть друг Алан? – она сделала характерный жест рукой, будто приглашая к ответу.

– Есть друг Алан, – ответил я.

– Так он и мой друг тоже! – она чуть не подпрыгнула от радости. – Он нас и познакомил как-то, и я даже была на вашем мастер-классе.

– Я никогда не давал мастер-классов, – заметил я.

– Вы правы, правы, – кивнула она. – Это был не мастер-класс, это была такая спонтанно сложившаяся компания, когда вы вдруг сказали, что не хотите больше играть. Что вот это всё... – она сделала несколько движений, имитирующих игру на пианино, – что это всё совершенно заоблачно, и человек не достоин ничего подобного. Ничего из этого. Вы правда больше не играете?

Я смотрел на неё и молчал. В сознании проносились картинки воспоминаний. Тот вечер до сих пор действовал на меня удручающе. Им не хотелось делиться. То есть начало было вполне сносным – я давал один из своих клубных концертов, играл Suite Bergamasque, Hommage a Haydn и разные мелочи, в конце окунувшись в собственные аранжировки песен Queen и фуги на темы из последнего альбома Tori Amos. Это был период, когда я почти отказался от выступлений в больших залах и перешёл на такой – камерный – формат. Мне очень нравилось играть в барах и клубах, не особо воспринимая это как концерт. Сегодня, когда всё или почти всё можно иметь в домашней коллекции в виде записей, живое выступление должно брать только атмосферой, которую – я был уверен – большие залы давно растеряли. Если только речь не идёт об опере – да и то.

После концерта мы отправились к Алану выпить по паре рюмок коньяку. Компания сложилась довольно тесная, а это значит, что было человек двадцать, в том числе и совершенно незнакомых мне людей. И именно там я вдруг понял, что больше не хочу.

Я НЕ ХОЧУ.

Наутро, вспоминая свои слова, я решил, что, пожалуй, сказал лишнее и что Алану следовало остановить меня посреди второй бутылки, но, во-первых, остановить меня невозможно, а во-вторых, с того дня прошло тринадцать месяцев, и я ни разу больше не поднимался на сцену.

Поэтому мне не пришлось ни врать, ни окутывать себя тайной, и на вопрос незнакомки я мог смело ответить, что да, я больше не играю. Можно было добавить: «По крайней мере – на публике», но я вовремя остановился, избавляясь от привычки отвечать на незаданные вопросы.

– Очень жаль, – сказала она и как-то так качнула плечом, словно и правда расстроилась.

И в этот момент я подумал, что чёрт с ними, с фотографиями. Ну, правда, почему бы не поболтать с милым человеком, не ворвавшимся, но ступившим в моё пространство, и кто знает, куда всё это заведёт. Тем более что она действительно казалась мне очень милой.

– Может, выпьете со мной чаю? – я повёл рукой, наконец приглашая её войти.

– Конечно, я сейчас попрошу, – она обрадовалась и разулыбалась во все свои прелестные губы, упорхнув в сторону проводников, прежде чем я успел хоть что-то добавить.

Вернулась она так же стремительно.

– Сейчас всё принесут. А, у вас уже есть стакан? Ну, ничего, чаю много не бывает, помните, как в фильме про певицу? – она осеклась. – Но вы, наверное, не захотите со мной разговаривать?

– Откуда такие сомнения? Я вас пригласил, это автоматически подразумевает, что я буду с вами разговаривать.

– Но только если я не стану касаться вопроса музыки и вашей игры, правильно? – перебила она и приподняла бровь. Понятия не имею, что это значит.

– Да, я бы предпочёл более нейтральные разговоры... ни о чём, – сказал я, удивляясь деланной официальности моего языка, будто я держал её на расстоянии и всячески старался это показать. Обозначить границы.

Я и правда выдерживал дистанцию, понимая, как же не люблю себя в такие минуты. Признавая, что именно вот так я не люблю больше всего. Мне настолько же легко бывает с совершенно незнакомым человеком, насколько трудно с теми, кто воспринимает меня в первую очередь со стороны того, что я делаю. Того, что принято называть работой. Хорошо, если не просят подписать диск. И я пою аллилуйю изобретателям mp3 – достать диски теперь всё сложнее.

– Но вас же наверняка интересует в первую очередь музыка? – рискнул я остаться в той же теме.

– Нет, – уверенность её ответа слилась со звоном вносимых проводником чайных стаканов. – Совсем нет. Я увидела знакомое лицо... ваше лицо... не просто знакомое... и, вы знаете, у меня такие трудности в общении в последнее время, совершенно не могу разговаривать – волнуюсь, терзаюсь, маюсь – а тут вы, совсем не чужой, и я решила – почему нет? Понимаете? Я просто вот так решила – почему нет? И пришла.

Она отпила чай.

– Ой, какой горячий. Как хорошо! Очень люблю чай, чтобы совсем кипятком. А вы?

И только тут я понял, что она знает моё имя, а я её нет.

– Я – Эльза. Знаете, как умная Эльза у братьев Гримм. Только такая же дура.

– Это которая пошла в погреб за пивом, увидела на стене кирку и села плакать, что кирка упадёт и непременно убьёт её будущего ребёнка?

– А потом она пошла работать в поле и уснула, а муж набросил на неё сеть с бубенчиками. Эльза проснулась и, глядя на бубенчики, задумалась: «Я это или не я?» Но кто знает ответ лучше мужа, она и пошла. Постучалась сама к себе и спрашивает: «Эльза дома?» А муж говорит: «Дома». Ну тут она и решила, что она это вовсе не она, и побежала куда глаза глядят. Вот и я так же. Пришла как-то домой, думаю – боже ж ты мой, я это ведь не я вовсе. Собрала чемоданчик наскоро да и поехала.

– Куда?

– А куда придётся. В Кишинёв вот еду.

– Это я заметил, – улыбнулся я. Всё же она была очень забавная. – Зачем вам в Кишинёв?

– А ни за чем. У меня парень был как-то из Кишинёва, ну давно уже, так всё хотел меня свозить, показать город, да так и не случилось. Я и подумала – почему бы не съездить. Подумаешь, ерунда какая, что мы давно не дружим, город-то тут при чём? Ну и еду вот. Дня на два, не больше. В Киев заехала, очень Киев люблю, а теперь в Кишинёв. Потом, может, ещё в какой город отправлюсь. На букву «К».

– В Калькутту?

– Может, и в Калькутту. А вы что?

А что я? Я на второй неделе путешествия начал думать, что снимаюсь в *road-movie*, в котором нет проблем ни с *road*, ни с *movie*, но беда со смыслом. И я подумал, что вот она – точка, в которой я точно схожусь с миллионами людей: я ненавижу все эти общие вопросы, за которыми не скрывается вообще ничего. Даже стандартное «Как дела?», призванное выражать обычную вежливость, уже не выглядит свежим и дурно пахнет, и требует занесения в словари с пометкой устар.

Но я собрался быстрее, чем успел додумать до конца, тем более надо следовать плану.

– А я – путешественник. Ищу новое призвание. Хочу, чтоб меня кто-нибудь призвал...

И беседа, как говорят в таких случаях, потекла сама собой дальше в том же духе. Мы пили чай и болтали до самого Кишинёва о какой-то ерунде, замешанной на любимых фруктах и местах, где предстоит побывать.

На выходе я предложил Эльзе помочь с багажом, но выяснилось, что её чемоданчик действительно кукольный, и я долго его разглядывал, потому что никогда не видел, чтобы девушки брали с собой так мало вещей. Что характеризует меня, как жертву стереотипов. И это ещё один пункт родства с человечеством.

В городе я пробыл два дня. Точнее – вечер, ночь, день, вечер, ночь, день. Утра я смело вычеркнул, потому что ни одного рассвета в Кишинёве не встретил. Поезд на Бухарест отправлялся в 16:35. По пути на вокзал я снова думал, какую запись оставить в дневнике, и никак не мог сосредоточиться на том, чем же я эти два дня занимался.

Всё время шёл дождь, и первым желанием было остаться в гостинице и не выходить никуда-никуда, но дождь бывает таким откровенным в своих летних тёплых вариациях, разнося по городу ароматы цветов и порой прорезая капли солнечными лучами, что я вышел на воздух, чтобы бесцельно шататься по улицам, бесконечно промачивать ноги и всё время заходить в разные кафе, где без остановки пил чай и горячее вино, переодевал майки и чувствовал счастье одиночества, и ужинал кифтелуце – тефтелями со сложным соусом из кореньев и томатов.

А потом всё высохло и началось нормальное летнее солнце, способное мне пригодиться, но я уже точно решил уехать, тем более что догуляв до Мазаракиевской церкви (1752 год, старомолдавский стиль, старейшее здание в Кишинёве) мне наконец пришлось сильно задуматься – почему все главные архитектурные сооружения носят абсолютно религиозный характер. Куда ни плюнь – всюду церковь. На худой конец – монастырь. Ответ был очевиден. Всё

из-за поклонения красоте. Так что если где-то и есть красивые здания, не имеющие к религии никакого отношения, это ещё не значит, что они лишены культа вовсе.

В общем, я совершенно расстроился и отправился на вокзал, утешая себя тем, что и у бога был выходной. И что если напало дурное настроение и не хочется совершенно ни с кем разговаривать, то и не надо. И город тут ни при чём. Тем более он мне понравился, особенно если я не простужусь.

Приехав на вокзал, я уселся в зале ожидания и впервые за несколько дней раскрыл книгу. Я зачем-то взял с собой в дорогу pocketbook-издание *To Kill a Mockingbird*, и вот наступил момент, когда оно мне пригодилось.

«Страница 246, строка 18» – произнёс я про себя первые пришедшие на ум цифры, вспомнив детскую игру. «I said Atticus didn't worry about anything». Ну, допустим. Не буду я ни о чём беспокоиться. Буду сидеть, ждать поезда и хотеть в зоопарк. Может быть, и нужно было проваляться два дня в отеле и прочитать эту книжку. Или совсем не брать её с собой.

– А можете мне погадать тоже? – раздался голос за моей спиной. Он был слишком знакомым, так что даже воспоминание о нём казалось подозрительным.

Конечно, это была она. На голове бант, в руках подсолнух.

– Погадайте мне тоже, пожалуйста, – сказала Эльза и сделала оборот на триста шестьдесят градусов.

Я почему-то совершенно не удивился её появлению.

– Страница, строка?

– Подождите, я только вопрос придумаю.

Эльза задумчиво подняла глаза к потолку и крутанула подсолнух.

– Страница 106, семнадцатая сверху.

– Эти цифры что-то значат?

– 106 – это сколько лет я планирую прожить. А семнадцать – это сегодня. Семнадцатое число.

Я принялся искать нужное место. Страница нашлась довольно быстро, а со строкой пришлось помучиться. Я пересчитал трижды. И пересчитал ещё раз.

– Ну что там? – вряд ли это был вопрос нетерпения, скорее, Эльза предположила, что, может, я что-нибудь не так понял.

– Страница 106, семнадцатая строка сверху, – повторила она.

– Я расслышал, просто хотел удостовериться, что это действительно оно.

– И что там?

– CHAPTER 7.

– А дальше?

– Всё. Семнадцатая строка – это заголовок.

Эльза снова посмотрела на потолок и сказала:

– Вот и чудно.

– Это даёт ответ на вопрос?

– Конечно, даёт. Это же новая глава! Мушкетер!

Она снова развернулась на носочках, вручила мне подсолнух, порывисто поцеловала в щёку и, добавив: «Как прекрасно, что я с вами тут встретилась! Хорошего вам пути!», устремилась в непонятном направлении.

Я шёл по перрону, снова шёл по перрону, и думал – кому это вообще пришло в голову, что в книгах есть ответы на все вопросы, стоит лишь найти нужную. По мне, всё было совсем наоборот. В книгах нет и не может быть никаких ответов. Книги то и дело задают вопросы, бесконечно следуя друг за другом, пока не упрутся в книгу, скрывающую самый главный вопрос. И тогда наконец можно выдохнуть и начать искать на него ответ, чтобы было чем заняться в дороге. Но, кажется, только этим я теперь и занимаюсь.

07. Бухарест (Румыния)

Сначала я решил пойти в музей, подумав, что в таком режиме я сам скоро превращусь в подобие мумии. Захороненной не по царскому обряду, а в пустынных песках. Потом я решил пойти в бассейн – бороться с внутренней отёчностью. Вода возвращает меня к истокам. Когда я плыву, я чувствую себя собственным предком, я возвращаюсь к великому «пра».

Через два часа я оказался на площади Революции. Королевский дворец помнит румынских монархов. Затем отправился к Дворцу Парламента. Карта превратилась в ошмётки. Люди вокруг выглядели открыто и дружелюбно. Я старался выглядеть типичным туристом. Погода была хорошая. Пахло скошенной травой. Я купил яблочный сок в мини-упаковке. Понял, что я ничего тут не знаю.

Я вспомнил, как мама в детстве возила меня в заповедник с оленями, и тогда я впервые почувствовал, что значит оказаться в совершенно незнакомом месте. Я не понимал, где этот заповедник находится, ничего не знал о его размерах, не узнавал его запах. Я не решался сделать шаг, преодолевая детское любопытство. Мне казалось – я в космосе. В безбрежном пространстве, где страшно ошибиться. Одно неправильное движение – и меня унесёт в космическую темноту. Я никогда больше никого не увижу. Никогда больше ничего не узнаю.

Похожее чувство накрыло меня, когда я, уставившись в карту, читал названия улиц. Выйдя на Bulevardul Unirii, я почувствовал себя лучше – тут по прямой до Bulevardul Libertatii. Действительно, огромное здание. Я достал айфон и открыл «Википедию».

«Дворец Парламента (рум. Palatul Parlamentului) – знаменитый архитектурный памятник в столице Румынии – Бухаресте. Построен во времена Социалистической Республики Румынии. Дворец считается крупнейшим в мире гражданским административным зданием, крупнейшим зданием парламента. Площадь 350 000 м², объём 2 550 000 м³».

Объём мне понять сложно, поэтому цифра не производит на меня никакого впечатления. Само здание производит. Цифра – нет. Я пытаюсь пересчитать её на стандартные ванны – получается 8 тысяч ванн. Мне кажется маловато, но я вдруг понимаю, что делил метры на литры. Дальше.

«Подземная часть дворца уходит в глубину на 92 м... 1100 комнат... строительство потребовало уничтожения пятой части исторического центра города... было разрушено множество церквей...»

Церквей полно где угодно, но мир почему-то от них не становится лучше. Дальше.

«...19 православных храмов, 6 синагог, 3 протестантских церкви...»

Теперь пространство не кажется мне таким большим. То, что я вижу, не стыкуется с тем, что я слышу. Я не могу представить, как всё это разместилось на этой площади. У меня в голове компьютерная игра, симуляция города. Духовенство негодует, мой генерал – людям нужны церкви. Успокойте народ. Подумайте о вечном.

Я думаю о вечном. Я думаю, что жутко расстроюсь, если они разрушат эти тонны мрамора и построят 19 православных храмов, 6 синагог, 3 протестантских церкви... Я плохой человек. Я думаю о вечном. И не верю в него. Разве может быть что-то вечное в мире, где всё можно восстановить?

Я обхожу дворец против часовой стрелки. Bulevardul Natiunile Unite. С этим всё ясно. Strada Izvor. Переводчик поясняет – Весенняя улица. Calea 13 Septembrie. Что у них тут произошло, интересно, 13 сентября?

Я смотрю кругом – везде одни туристы. Никто не похож на местного жителя. Местного всегда легко отличить от туриста по глазам и походке. Местные расслаблены, даже если у них полно проблем. Они расслаблены относительно того, что их окружает. Тут все заинтересованы.

И почти никого, кто был бы один. Туристы редко перемещаются в одиночку. Если только они – не я. И они – не я.

Читать о дворце было ошибкой – всегда интересней узнавать подробности в живом разговоре. Даже если он будет полон ошибок. Лучше поправлять ошибки чтением энциклопедий, чем, расположившись на местности, уткнуться в сухие цифры, избегая эмоции сбивчивого рассказа.

Рассказчики делятся на «О! Это потрясающая история!» и «Э-э-э, я точно не помню, но...» Мне нравятся и те, и другие, тем более что их можно чередовать. У меня обычно получается с первого взгляда понять, кого и о чём можно спрашивать. Как далеко зайдёт разговор. Иногда я выбираю таких, что ответят не только на мой вопрос, но и добавят несколько фактов от себя. Это выдаёт в них любовь к городу. Этим они похожи на туристов, приезжающих куда-нибудь во второй раз. Во второй раз чувствуешь себя своим. Чуть выше тех, кто тут впервые. И это очень легко объяснить – всему виной знания. Человек начинает обладать информацией, которой пока нет у других; у него есть опыт, который другим только предстоит пережить. Знания возвышают человека над теми, кто ещё вчера был ему равен. Если ты знаешь, куда идти, – ты становишься главным.

Почему-то в других случаях это не работает.

Я останавливаюсь и ещё раз смотрю на Дворец Парламента. Снизу вверх и справа налево. Словно осеняю его обратным крестом, не понимая в первую секунду, почему я обращаю на это внимание. Крест есть крест, как его ни черти. Но потом спохватываюсь и убеждаю себя в силе знаков (19 православных храмов, 6 синагог, 3 протестантских церкви). Крест будет напоминать о распятии даже самому упёртому атеисту, выросшему в христианском мире, как мне буква S всегда напоминает скрипичный ключ.

Я утыкаюсь в карту и решаю отправиться в парк. Bulevardul Libertatii приводит меня на набережную. Слева мост. Перехожу на ту сторону Дымбовицы. Иду до Bulevardul Regina Elisabeta. Догадываюсь, что Регина – это не имя, а титул. Королеву Елизавету я помню с юношеских занятий по истории музыки. Она училась у Клары Шуман, но тут её любят за другое. Её любят за то, что, став королевой, она постаралась стать для подданных настоящей румынкой, хотя по рождению была немкой. Быть немкой и региной – это, вообще, естественно. Сворачиваю направо. Сад Кисми гиу. Очень много людей. Озеро. Лодки. Иду прямо. Вычитываю что «кисми гиу» с турецкого – «публичный фонтан». Интересно, с той стороны есть выход? Не возвращаться же. Есть. Снова раскрываю карту. Strada Știrbei Vodă – понятия не имею, что это значит. Что-то с водой. Вода бы не помешала. Хочется есть. Надо сделать перерыв.

Вхожу в ресторан. Тут подают всё – чулама, чорба, стуфат, митетеи. Беру митетеи только потому, что мне нравится название. Рубленый фарш, чеснок, специи. Оказалось не так много жира, как я думал. Всё равно выпиваю рюмку Цуйки – довольно крепкого фруктового бренди.

– Какой тут есть ещё парк, кроме Кисми гиу?

– Поезжайте в Херастрау.

– Это в честь Герострата?

– Нет, конечно.

– А что?

– А бог его знает, – смеётся. – Но если честно, название происходит от румынского слова «пилить», или точнее – «лесопилка». Там раньше их было много. Очень давно. Или можете пойти в Ботанический сад. Совсем недалеко.

– Спасибо. Mulțumesc.

Ботанический сад – это интересно, но я поеду на лесопилку.

В парке Херастрау я беру лодку, гребу до середины озера и сушу вёсла. Я устраиваюсь полужёла и смотрю на небо. Лодка слегка покачивается на волнах. Я ловлю себя на мысли,

что надо избежать этой фразы, если захочу написать об этом в дневнике. Но лодка всё равно покачивается на волнах. Слегка. Пока не ударяется носом.

– Ah! Îmi pare foarte rău.

На другой лодке, столкнувшейся с моей, сидит женщина весьма преклонного возраста. Это не мешает ей уверенно держать вёсла.

– Извините, я не говорю по-румынски.

Я пытаюсь понять – кто виноват в столкновении. Это лёгкий толчок, но всё равно неудобно. Пожалуй, мне не стоило пускать своё судно на самотёк.

Странную вещь творит возраст – если бы на её месте был мой ровесник или, например, просто человек более сильный, во мне, скорее всего, ничего бы не шелохнулось. Но передо мной очень пожилая женщина – сколько ей? 75? 77? И я знаю, что налети она на меня со всей скоростью и потопи лодку, я всё равно чувствовал бы свою вину.

– Не говорите по-румынски? – она с лёгкостью переходит на английский. – Это пустяки. Мне кажется, я чем старше становлюсь, тем всё хуже говорю по-румынски. Во всяком случае, молодое поколение с трудом понимает меня, а я не всегда понимаю его.

Я начинаю замечать, что люди, с которыми встречаюсь, всегда мне улыбаются. Но если Эльза меня узнала, то эта румынская женщина вряд ли обо мне слышала. Интересно, почему многие мои приятели жалуются на то, что их окружают мрачные не улыбающиеся люди? Наверное, они слишком много хотят от жизни или смотрят не в ту сторону.

– С вами всё в порядке? – спрашиваю я, стараясь строить самые простые фразы.

– Да, я прекрасно себя чувствую, спасибо. Вы простите меня, что я устроила эту баталию.

– Да нет, что вы, это вы меня простите, мне следовало быть менее мечтательным.

– А вы мечтательны?

– Обычно нет, но с каждым может случиться.

– Да, исключения – это то, что делает нашу жизнь хоть немного непредсказуемой. Особенно если давно кажется, что всё разложено по полкам. Я когда-то мечтала самозабвенно. Целыми днями предавалась фантазиям. Да и сейчас иногда нападает – правда, чем дальше, тем больше я мечтаю о том, что уже было, осталось позади. Всё меньше хочется нового, всё больше хочется повторений. Впрочем, это вопрос, в котором я не могу найти согласия даже сама с собой, что уж говорить о других. Так что мечтайте сколько вздумается, мечтайте о самых фантастических вещах. Должно же в нашей жизни быть что-то безграничное. Впрочем, что это я несу! С вами-то всё в порядке? Не ушиблись?

– Всё нормально, – сказал я. – Это было немного неожиданно, но хорошо, что вы не пират.

Она рассмеялась.

– Да, на пирата я точно не тяну. Разве что на его болтливого попугая. А знаете что? – она лихо развернула лодку. – Не считите за флирт, но раз уж я на вас налетела, может, вы составите мне компанию за чаем? Догоняйте!

И подмигнув, она устремила в сторону пристани.

Не могу сказать, что я не встречал в жизни притких старушек, но скорость, с которой удалялась лодка моей случайной знакомой, удивляла. Да и старушкой её называть не хотелось. Опустив вёсла в воду, я последовал за ней.

Через двадцать минут мы уже сидели в одном из многочисленных ближайших ресторанчиков – словно бабушка и внук, вышедшие на прогулку.

– Вы так лихо управляетесь с лодкой, – сказал я, тут же поняв многозначительность фразы.

– Хорошо, что мы не на море, правда? Но вообще, это превращается в привычку, я каждый год с кем-нибудь вот так знакоблюсь. В прошлом году сбила человека на лыжах.

– На водных?

– Нет, на обычных, для снега.

– Вы ещё и на лыжах катаетесь?

– Раньше я могла позволить себе большее, но теперь я катаюсь только в трёх случаях: на лодке, на лыжах и на автомобиле. Разумеется, за рулём.

Никогда ещё я так сильно не хотел спросить человека, сколько ему лет. Хотя привязка к возрасту мне всегда казалась отвратительной. Предрассудочной. Меня удивляли друзья, отказывавшиеся вступать в отношения с двадцатилетними парнями. Они говорили: «Восемь лет разницы – слишком много, у двадцатилетних в голове ещё ничего нет и в большинстве случаев вряд ли будет, а сомнения на миллион». И удивляли девушки, сплетничающие о подруге, заведшей роман с мужчиной на тридцать лет старше: «...даже если у вас будут дети, он же не доживёт до их совершеннолетия! Это если вообще будут дети – ему своих двоих наверняка достаточно». И удивляли приятели-бизнесмены, уверяющие, что для такой работы двадцать пять – это слишком мало, «пусть опыта наберётся», а тридцать – уже много, «в этом возрасте человека не переучишь».

Для меня возраст был просто цифрой. Если только речь не шла о сексуальном интересе. Но и это скорее для статистики. В свои двадцать восемь я уже убедился, что сорокалетние в общем ничем не отличаются от двадцатилетних. Разве что у последних ещё есть хоть какие-то устремления. Шанс не разбазарить время по пустякам.

– А вы? Вы часто заводите новых друзей? – спросила она, и я вдруг заметил разницу в наших позах.

– Именно с этой целью я и отправился в путешествие.

Я сидел, прислонившись к спинке кресла, она – совершенно ровно, держа позвоночник.

– Социальные травмы, кризис интереса, а может, синдром Аспергера, понимаю. Я была учителем, потом в университете преподавала – сколько этих травм прошло перед моими глазами. Война, социализм, революция. А знаете, я поняла, что сама революция не так важна, как выход из неё.

– Что будет после?

– Да, что будет после, когда всё уже свершилось. Мне революция напоминает дни рождения – особенно в детстве. С ожиданием праздника, надеждами, составлением списка гостей и выбором праздничного торта. И, конечно, подарки. Самое главное, чтоб подарили всё, что загадано. А потом сам праздник – приходят гости, взрослые пьют шампанское, детям – лимонад и вкусные пирожные. Самые-самые вкусные пирожные! – она мечтательно причмокнула. – Подарки в красивой упаковке, улыбки, счастье. И вот это ощущение, совершенно детское ощущение радости от того, что стал на год взрослей. Что уже не семь, а восемь.

Я подлил нам чаю, глядя ей в глаза, боясь даже на секунду потерять внимание. Она продолжала:

– А потом, как вы сами понимаете, наступает утро. Гости разошлись, посуда перемыта, подарки нашли своё место. И наступает разочарование. Или, точнее, как это, опустошённость. Лёгкая детская опустошённость, которую сам в своём детстве объяснить не можешь. А только знаешь, что до следующего дня рождения целый год, и как-то надо с этим жить.

– Рано или поздно приходится смириться.

– Да. Закажем пирожных?

Я согласился.

– А вы отмечаете дни рождения? – спросила она.

– Свои?

– Чужие приходится. Конечно, свои.

– У меня тот случай, когда свои тоже приходится. Мои друзья или то, что от них осталось, коротко говоря, люди, считающие себя моими друзьями, уверяют, что это не мой праздник. Они говорят, что это их праздник, и я должен принять в нём участие. Я всегда удивляюсь – как им каждый год удаётся меня уговорить.

Я снова подлил чаю и решил дерзнуть:

– А вы отмечаете?

– Ещё как! Наступает момент, когда возрастом можно гордиться, и дни рождения превращаются в зарубки на дереве. Или в отметки роста в проёме дверей. Только в обратную сторону.

– Вы сказали, что преподавали, а что именно?

– Музыку, английский язык, историю.

– Так много сразу? А почему перестали? Вы же в прекрасной форме!

Я обрадовался, что наконец-то смог сделать комплимент, который совершенно точно был уместен и не выглядел наигранным. Любую лесть она тут же раскусит.

– С чего вы решили, что я перестала? Я отдаю этому меньше времени, но мои настоящие ученики не жалуются. Наоборот. С учётом изменчивости взглядов на исторический процесс и трансформаций, происходящих в языке, – уж простите за сухость фразы – мне приходится постоянно чему-то учиться. Одна музыка вечна.

Вот же он – прекрасный момент!

– Пойдите!

Я принял ту же позу, что и она, последний раз моя спина была такой ровной, когда я играл в Москве фа-диез-минорный концерт Скрябина.

– Пойдите! – повторил я. – Вас же мне бог послал!

– В каком смысле? – полушутя спросила она.

– Вы же знаете, что такое «13 сентября»?

– Как историческая дата?

– Как название улицы около Дворца Парламента.

– Ох, – в классической литературе это называлось бы «всплеснула руками», – вы знаете что-нибудь о румынской революции 1848 года?

– Только о французской.

– Тогда революции прошли по всей Европе, разумеется, за исключением Скандинавских стран, Швейцарии, Нидерландов и Великобритании. Румынии тогда ещё не было – государство образовано в 1877 году, а за тридцать лет до этого тут располагались Дунайские княжества – Молдавия, Валахия, Добруджа, Трансильвания, хотя Трансильвания – это отдельное дело, почитайте о нём обязательно на досуге.

– Спасибо, непременно почитаю. И что революция?

– Революция 1848 года – это, по сути, первый большой шаг к будущему объединению княжеств в единое государство. Она, разумеется, была подавлена, но в истории остались даты, которые не стыдно положить в основание улиц. Бухарест, как вам известно, это Валахия. 13 сентября состоялась последняя битва валашской революции.

Она сделала паузу и внимательно на меня посмотрела.

– Вам правда это интересно?

– Очень. Я полдня думаю про эту улицу. 13 сентября – мой день рождения.

– О! Тогда вам и правда меня бог послал! Если хотите, могу рассказать. Это довольно быстрая история, если без подробностей.

– Не сочтите за труд.

– Всё это происходит в районе холма Дялул Спирий, то есть там, где сейчас и расположена улица 13 сентября, это не случайно. Там были сосредоточены пехотные батальоны полковника Голеску и майора Грецеану. Плюс рота пожарных войск под командованием капитана Павла Зэгэнеску.

– Извините, а за что вообще выступали революционеры?

– В целом революции носили освободительный характер. Валахия, как и Молдавия тогда, – это же части Османской империи. Революционеры хотели если не независимости, то

по крайней мере автономии в составе империи. Что подразумевало национальную гвардию, отмену титулов, равенство всех перед законом, выборы в Учредительное собрание, выборы президента, ну и свободу слова. Обычное дело.

– Не получилось?

– Ну, как сказать. Кое-чего удалось добиться. В июне князю Бибеску была представлена прокламация с требованиями. Люди подошли к дворцу совершенно свободно, ни войска, ни полиция им не мешали. Князь согласился с требованиями, а через несколько дней вконец отрёкся от престола. Уже 14 июня Временное правительство издало первые декреты, отменявшие сословные чины и цензуру, но главным для нас является декрет о создании национальной гвардии, состоящей из добровольцев, или попросту – вольных наёмников. Вы извините, я очень сокращаю, чтобы не потеряться в подробностях. Потом, буквально в течение нескольких дней, власть переходила из рук в руки – сначала бояре арестовали временное правительство, не без помощи некоторых офицеров, правда, тут же последовало городское восстание, и временное правительство вернуло себе полномочия. Опять же вопрос веры.

– А вера тут при чём?

– Понимаете, валашские революционеры очень хотели рассорить Османскую и Российскую империи.

– Для чего?

– Чтобы они стали выяснять отношения между собой, приотпустив поводья в Европе. На этом фоне можно было попробовать обрести полную независимость.

– Не получилось? – спросил я снова.

– Совершенно точно не получилось. Ни те, ни другие вообще не хотели вмешиваться в валашские дела. Россия не собиралась становиться угнетателем православных братьев, а Турция ждала, когда в Валахии окончательно свергнут местную монархию, чтобы спокойно её заменить своей. Поэтому, в конце концов, султан отправил в Валахию войска – как ни крути, а это часть империи. В ответ прозвучали призывы к вооружённому сопротивлению, и вот тут начинается главное – 13 сентября 1848 года состоялось ключевое сражение войск султана и валашских революционеров. Столкновения можно было избежать, но, как часто бывает, в дело вмешался случай. Войны никто не хотел. Никто не хотел смерти. Командующий османскими войсками Керим-паша, как утверждают историки, восхищённый мужеством румынских солдат, приказал вывести войска из города, чтобы попытаться решить дело путём переговоров. Есть известная фраза Раду Голеску, полковника, о том, что солдат только тогда счастлив, когда умирает с оружием в руках. И вот представьте себе картину: солдаты Керим-паши маршируют вон из Бухареста, проходят мимо пожарных расчётов, и тут локоть одного румынского прапорщика касается локтя одного турецкого наводчика. Совершенно непонятно, кто виноват, да и какая разница уже, кто виноват. Два молодых человека, проникнутые ненавистью друг к другу, – измученные, уставшие, безмозглые, адреналин скачет – встречаются локтями! И всё! В ход пошли мечи, пистолеты, османские войска атакуют пожарную дивизию, которая, как принято говорить, оказала героическое сопротивление, но, конечно, не могла противостоять целой армии. После жестокого сражения, длившегося более четырёх часов, румынские войска были разгромлены. Турки захватили Бухарест. Революция 1848 года на этом закончилась.

Я сидел пораженный тем, что в мире произошло так много событий, о которых я не имею ни малейшего представления. И тут, казалось бы, обычная история, мало чем отличающаяся от других подобных, оказывается такой значимой для целого народа. Для целой страны.

– С тех пор 13 сентября в Румынии отмечается День пожарных. А я теперь буду помнить и про ваш день рождения. Давайте возьмём ещё чаю или вы торопитесь?

– Нет, я не тороплюсь, я уезжаю завтра. Возьмём ещё чаю.

Я подозвал официанта и не устоял перед предложенными пирожными.

– Куда направитесь? – спросила моя случайная знакомая.

– В Венгрию.

– О, это прекрасная страна, – она мечтательно улыбнулась. – Будапешт – просто сокровище. Давно там не была. А что, может, махнуть с вами?

Я замер с чайником в руке.

– Да бросьте, я шучу.

Она рассмеялась.

– Нет, если хотите, я буду только рад вашей компании.

– Но вас беспокоит мой возраст, признайтесь.

Я был вынужден согласиться. Я отлично осознавал всю прелесть подобного путешествия, но старый человек есть старый человек. Меня не смущало, как мы будем выглядеть со стороны, в этом как раз были одни преимущества. Меня волновало, что что-нибудь может случиться. Что-нибудь непредвиденное, с чем я не смогу справиться.

– Вот видите, – сказала она. – Возраст всё-таки имеет значение. Если бы мне в ваши годы пришлось куда-то ехать с полусумасшедшей, пусть и недурно выглядящей старухой, я бы до смерти перепугалась. Я бы только и думала о том, как бы она случайно не умерла на моих руках. И вы подумали о том же.

– Нет же, – я попытался сопротивляться. – Да и какая вы старуха!

– Самая настоящая, – впервые за всё время в её голосе проскользнула грусть. – Самая настоящая румынская старуха. И не надо лстивых слов противоречия. Я убеждена, вы на них способны. Но знаете, какое самое большое открытие я сделала в жизни?

Она вопросительно замолчала, но я понимал, что эта необходимая пауза не предполагает моего ответа.

– Я всю жизнь боялась смерти. И думала, что чем старше буду, тем сильнее начну бояться. Это такое же ожидание дня рождения, только с не совсем утверждённой датой. И вот я выросла. Я очень-очень выросла и открыла, что абсолютно не боюсь умереть. Я думаю, что люди боятся смерти вовсе не потому, что страшатся неизвестности. Люди боятся незнания.

Она снова замолчала. На этот раз я решил её прервать.

– А это не одно и то же?

– Неизвестность – это небытие. Вы не знаете, что с вами будет после смерти, или боитесь, что будет что-то нехорошее. Ад.

– Или вообще ничего не будет.

– Или вообще ничего. Что для многих счастье, которое они не способны понять.

– А незнание?

– Незнание – это невозможность получить информацию. Сегодня каждый день вы получаете информацию. Вы узнаете, каким становится мир. Это можно сравнить с длинным сериалом. Первый случай...

– Неизвестность.

– ...если сериал вдруг перестаёт выходить. Финансирование кончилось или что ещё. А второй случай...

– ...незнание.

– ...если вы умираете раньше, чем сериал закончился. Конец наступает в обоих случаях, но согласитесь, есть разница. И теперь – самое главное.

Она сделала глоток чая и, подняв тонкой вилкой последний кусочек медового пирожного Катаиф, отправила его в рот.

– Господи, до чего вкусно. Никогда не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Лишать себя радостей – значит, заблуждаться.

– Буду стараться, – заверил я.

– Собственно, в заблуждениях и кроется самое главное, – продолжила она. – Люди заблуждаются столь же бесконечно, сколь и безосновательно. Они заблуждаются в том, что

получают информацию. Заблуждаются в том, что эта информация для них важна. Заблуждаются в том, что мир вообще продолжает существовать после их смерти. Люди живут, чтобы хоть что-нибудь узнавать каждый день. И ничего не хотят знать. Я прожила девяносто один год и перестала бояться смерти, поняв, что я ни черта не знаю. И ни черта не узнаю. Вся жизнь, как один день рождения. А потом наступает утро.

08. Будапешт (Венгрия)

19 июня 2013 года. Сегодня мы благополучно перешли границу и вступили в город трёх городов. Когда я был ребёнком, я думал, что всё имеет границы, и это особенно видно на примере птиц. Потом я открыл для себя музыку и убедился, что существует нечто поистине безграничное. Потом мне посчастливилось вырасти, и я понял, что мои детские убеждения – самые правдивые. Даже музыка оказывается ограниченной возможностями человеческого слуха.

Поэтому, когда в шуме светлого дня я встретил Матэ, я спросил:

– Как твоё имя?

– Матэ, – ответил он.

– Э-мм... Можешь его напеть?

Матэ вырос с бабушкой, родившейся в Обуде через пятьдесят лет после объединения. Поэтому неудивительно, что большую часть жизни он провёл в Буде. А по выходным встречался со своей девушкой, выросшей в Пеште.

– Вообще, любое знакомство начинается с вопроса: «Откуда ты?» – рассказывал Матэ, погружая меня в устройство территориальных отношений. – Это называется «ты мне не подходишь по первому признаку». Если я живу в Буде, а ты в Пеште – у нас вряд ли что-то получится.

– Апартеид какой-то.

– Нет, ты не так понял. Наверное, что-то подобное есть везде, просто у нас это более выражено. Никто не будет мотаться через весь город! – пояснил он.

– Ты же мотаешься, – констатировал я, ловя себя на теории исключений, подтверждающих правила.

– У нас ритуал. Это редкость, – парировал Матэ, воспроизводя теорию горящих мостов.

Место встречи Матэ с Йолантой было неизменным. Уже несколько месяцев они ловили друг друга на середине моста Сечени, в том месте, где их взгляды соприкоснулись впервые.

– Мы дотянем до года, а потом будем жить вместе, – объяснял Матэ. – Если, конечно, всё будет хорошо.

– Только пока не решили, где именно, – добавляла Йоли. – Придётся кидать монетку.

С Матэ мы познакомились четырнадцать лет назад на конкурсе молодых исполнителей. Он блестяще выступал в своей категории, чего не скажешь обо мне. Накануне очередного тура я повредил руку, по нелепости ударившись о стену, так что думали вообще снять меня с конкурса, но я решил, что справлюсь, и вышел на сцену. Я знаю, что поступил правильно, и будь передо мной такой же выбор сегодня – поступил бы так же. Я помню, как срезал пару аккордов в левой руке, и завалил педаль; помню, как осознал, что рассчитывать не на что и диплома мне не видать; помню, как расстроился, но тут же взял себя в руки, решив в следующий раз быть лучшим, понимая, что и в этот раз я – лучший, и если б не эта досадная стена... Но это было не главное. Свой неуспех я могу оправдывать травмой сколько мне вздумается, но как бы я узнал, насколько был близок к провалу, если бы не попробовал? Как бы смог сделать выбор, не случись самой возможности этого выбора?

Тут есть определённое геройство – мне приятно было думать, что я молодец.

Тогда же я уяснил для себя, что такое долг. Я подвёл людей, готовивших меня к конкурсу. Они возлагали на меня надежды – и я должен был доказать, что не собираюсь отступать.

Уже тогда сильнее фортепиано я любил только виолончель, и потому не пропустил ни одного выступления виолончелистов. Матэ творил волшебство. Его Бах звучал очень зрело, а соль-минорную сонату для виолончели Шопена я вообще впервые услышал именно в его исполнении, пусть это была только первая часть.

В перерывах конкурсных дней, когда выпадало свободное от репетиций время, мы ходили есть мороженое и однажды, сидя на скамейке в обыкновенном безымянном сквере, облизывая размягчающиеся рожки, пообещали друг другу, что, когда вырастем, обязательно дадим большой совместный концерт.

– Я слышал, как ты играешь, – сказал Матэ, признавшись, как подслушивал у дверей класса, где я репетировал свои итальянские этюды и справлялся с Григом, самым печальным композитором в мире, которого я очень любил играть уже в то время, но проник в его сущность гораздо позже. – И я буду следить за тобой.

В ответ я только недоумённо улыбался.

На следующий день после моей неудачи Матэ подошёл ко мне за кулисами и протянул ноты. Две пьесы для виолончели и фортепиано. Рахманинов.

– Когда? – спросил я, подняв полные нетерпения глаза.

– Сегодня вечером, – ответил он почти заговорщически тихо.

Скромность наших переговоров объяснялась среди прочего необходимостью простоты общего языка, бывшего для нас обоих иностранным.

– В четыре меня оставят репетировать одного. Буду ждать.

Мои конкурсные занятия были закончены, но учитель договорился, что мне дадут класс в расположенной неподалёку музыкальной школе, взяв с меня обещание, что я не буду перенапрягаться. Он мог запретить мне играть, но разве это звучит не смешно? Сам господь бог не может запретить мне играть, и учитель знал, что я всё равно найду способ пробраться к инструменту, так что лучше пусть он будет в курсе, дабы не усугублять неприятностей.

Тем более все ждали финалов, и я мог заниматься чем угодно.

Матэ пришёл вовремя; я как раз читал с листа первую пьесу – прелюдию фа-мажор. Расчехляя виолончель, Матэ сказал, что у нас есть только один вечер. Завтра, перед финалом, ему весь день работать с педагогом, а послезавтра они играют финал и почти сразу уезжают.

– Давай же начинать, – сказал я, кивнув на стоящий в углу пюпитр, стараясь не показывать, что слегка расстроен его словами. Ну почему мысль сыграть что-нибудь вместе не пришла мне самому?

Прелюдию мы освоили довольно быстро. Заданный автором темп *Comodo* позволял действовать по собственному разумению. Через два часа мы играли пьесу совсем слаженно и почти наизусть. Но, конечно, не так, чтобы рискнуть с ней выйти на сцену. Матэ справедливо признавал, что моя партия сложнее – и аккорды в правой руке потребуют более детального разбора. А я восхищался его шестнадцатыми и всё время говорил: «Давай помедленнее», чувствуя себя настоящим концертмейстером.

Но Матэ отказывался видеть во мне концертмейстера – он настаивал, что я полноценный голос, и подхватывал все мои вынужденные замедления, пока я старался попадать в правильные ноты, проигрывая некоторые такты по несколько раз. Добираясь до ре-диез, я благодарил бога, что потянул левую руку, а не правую, иначе у нас бы совсем ничего не вышло.

Мои молитвы прекратились на четвёртой странице «Восточного танца», ля-минор, *Andante cantabile*. Да, именно там, где у виолончели начинаются тридцать вторые, а моя партия украшается секстовыми скачками. Это не выглядело слишком трудным и технически было даже ниже моего уровня, но мне было тяжело – в этих переходах с до-диез на до и обратно я чувствовал такое неудобство, что в руке что-то зажималось, и я даже вскрикнул.

Прислонив виолончель к стулу, Матэ подошёл ко мне и спросил:

– Что с тобой?

– Очень неудобно левой руке, – ответил я, продемонстрировав кисть. – Больно.

– Больше не будем играть, тем более у нас всё равно ничего не получается, – заметил он.

– Да, тут без серьёзных репетиций не обойтись, – я был готов согласиться, кажется, с любым его утверждением, потому что чувствовал, что Матэ как музыкант выше меня

на голову, и мне нелишне прислушаться к его замечаниям. В конце концов, послезавтра он играет финал, а из меня, может быть, когда-нибудь получится неплохой концертмейстер.

– У тебя очень красивые пальцы, – вдруг сказал Матэ, наклонившись над моей полувытянутой рукой. – Тебе говорили?

«Пальцы как пальцы», – подумал я, силясь придумать, как перевести эту простую фразу. Слова прятались друг за друга и не желали выскакивать на поверхность.

– Из тебя получится большой музыкант, – добавил он и взял меня за руку.

Или даже не взял, а как-то очень мягко, одним движением, подложил свою руку под мою, уже окончательно расслабленную.

– Я буду мечтать, что мы когда-нибудь будем играть вместе.

– Но мы же только что играли вместе! – произнёс я про себя, зная, что Матэ говорит совсем о другом.

Моя рука лежала на его руке. Я молчал, боясь спугнуть родившееся внутри меня странное чувство, испытанное раньше лишь однажды, когда я впервые прикоснулся к клавишам рояля, и мне показалось, что я прилип к ним навечно. Мои руки настолько отяжелели, что маме пришлось помочь мне их поднять – словно вся кровь, словно всё тело собралось в пальцах и только в них теперь могло существовать.

Сейчас я чувствовал то же самое, только гораздо сильнее – да и кровь моя растекалась по всему телу новой волной, вызывая уже хорошо известные желания.

Нет, я не испугался и не отдернул руку. Я позволил ей лежать на руке Матэ, пока он рассматривал мои пальцы, пытаюсь совладать с чувствами, захлестнувшими его молодой разум.

Наверное, можно сказать, что никто из нас не понимал, что происходит, но это было не так. Вся суть в том, что мы очень хорошо понимали, что происходит. Боясь этого внезапного откровения юношеских сердец, стучащих в такт, в огненном *allegro*.

Стало ясно, что наши занятия музыкой на сегодня, а может, и навсегда – закончены, но что делать дальше? В четырнадцатилетних глазах это самый главный, разбитый на три четверти вопрос: «Что делать дальше?»

Матэ положил свою вторую руку поверх моей, так что она оказалась в настоящем плену, и сказал:

– Хочу, чтобы твои руки никогда не болели, чтобы ты мог играть самую прекрасную музыку в мире. Хочу быть рядом с тобой и всегда её слышать.

Внутри у меня всё бурлило. Я забыл обо всём – о ходе времени, о только что выученной пьесе, о больной руке, уже совершенно не болевшей. Я, наверное, забыл даже своё имя – в голове вертелось только: «Матэ, боже, что же это такое, Матэ?». Невозможно двинуться с места, невозможно пошевелить рукой, страшно пошевелить рукой – будто бы всё сломается, будто бы ничего больше не случится, как страшно, если ничего больше не случится.

Мизинец дернулся сам собой – движение, необходимое телу, чтобы не выдать остальную дрожь.

– Матэ, – я удивился хриплости своего голоса, в горле пересохло. – Матэ.

Я высвободил руку и прикоснулся к его щеке. Он ждал. Не произнося ни слова.

– Матэ, – снова сказал я, уже уверенней, или мне так только казалось, но этот третий раз будто переключил тумблер. Почувствовав, что снова владею телом, я вырвался из оцепенения и, отрывисто поцеловав Матэ в самое начало губ, вылетел из класса.

На улице, добежав до угла, я остановился и, переводя дыхание, подумал о том, о чём думают все в такой ситуации: «Что же теперь будет? Что он обо мне подумает? Как я буду смотреть ему в глаза? – И через мгновение: – Как же наша музыка?»

Надо подождать, когда Матэ уйдёт, потом вернуться, закрыть кабинет и вернуть ключ; или бежать к учителю, сказать, что я закончил, и пусть он закроет класс и заберёт мои ноты;

или вернуться прямо сейчас – смелым и сильным, будто ничего не произошло, или даже если произошло, то что тут такого?

Мне всё равно придётся встретиться с Матэ, я не смогу этого избежать – так что лучше всё решить сразу.

– Я знал, что ты вернёшься, – сказал Матэ, когда я вошёл в класс. – Ты не похож на тех, кто убегает, тем более – от себя.

– Извини, я разволновался, – сказал я таким уверенным голосом, что сам удивился. – Этот Рахманинов, моя рука, конкурс, так много всего сразу. Я не привык.

– Я понимаю, – Матэ отошёл от рояля и приблизился ко мне. – Но волноваться не стоит. Мы будем самыми большими друзьями в мире. Я буду писать тебе письма, и мы обязательно очень скоро встретимся. Нам ещё так много надо сделать вместе.

Тут он совсем недвусмысленно улыбнулся и я понял, что речь, видимо, не о музыке. Словно в подтверждение моей догадки, он взял меня за руки, приблизился совсем вплотную и поцеловал длинным взрослым поцелуем – самым первым в моей жизни и, значит, – самым незабываемым.

Я стоял совершенно ошарашенный, после того как он оставил на мне отметки тремя короткими острыми поцелуями и взял уже зачехлённую виолончель, – он успел убрать её, пока я мотался по улице. Я смотрел, как он складывает ноты, и снова думал о том, что же теперь будет, что же дальше, но, ощущая внутреннюю трансформацию, думал уже не о том, как жить *с этим*, а как жить *без этого*?

Мне хотелось прижаться к Матэ и никогда больше не отпускать. Хотелось, чтобы сейчас наступила взрослая жизнь, и тогда мы всё бросим и убежим бог знает куда, и станем самыми счастливыми, упиваясь каждой проведённой вместе минутой. Я чувствовал, как внутри меня рождается большое чувство, готовое вырваться на свободу, – и впервые это чувство не было абстрактным. Оно предназначалось совершенно конкретному человеку – оно предназначалось Матэ.

– Завтра мы вряд ли сможем увидеться, – сказал он, взявшись за ручку двери. – Приходи на финал. Мне будет легче, если ты будешь в зале. Я буду играть для тебя.

Он улыбнулся, провёл рукой по моему плечу и вышел из комнаты.

Я стоял около двери и старался справиться с сумбуром чувств, но ничего не получалось. Должно будет пройти много лет, чтобы я понял, что с сумбуром чувств справиться невозможно. Ему надо подчиниться, пережить эти гормональные всплески и успокоиться, когда наступит время.

Но в тот момент, оставшись в одиночестве в классе, я знал только один способ справиться с собой. Я уселся за рояль и начал играть всё подряд – перебирал старые школьные пьесы, полупозабытые этюды, народные песни, которым непроизвольно подпевал. Я забыл о своей руке и остановился только, когда оторвал наконец взгляд от клавиш, заметив перед собой ноты. Они всё так же были открыты на «Восточном танце», и это было то, чему я должен был отдать сейчас себя всего. Это было то, что связывало меня с Матэ. Старательно разучивая первые страницы, я готовил себя ко всем нашим будущим концертам сразу. Ко всем выступлениям, которым не дано было случиться.

– Сегодня мы идём в купальни, – сказал Матэ. – Летом там такие чудеса творятся: тела, музыка, алкоголь. Мы должны упасть в веселье и безрассудство.

– Надо раздеваться? – спросил я.

– Конечно, в этом же весь интерес! Не стесняйся, у тебя отличное тело – я знаю! – он хитро улыбнулся. – А Йоли в купальнике – это песня!

– Не смущай меня раньше времени! – Йоланта вклинилась в разговор в обычной для себя, как позже выяснилось, слегка саркастичной манере.

– Купальни так купальни, – смирился я, поймав себя на мысли, что этот речевой оборот больше не вызывает у меня затруднений. – Надо только плавки купить, я езжу налегке.

Выпил я много. Но в безумии музыки, среди мокрых людей мне было до того хорошо, что я совершенно не заботился о собственной форме. Тем более рядом был Матэ, и в тот момент меня мало заботило что-то ещё. Я тонул в собственных воспоминаниях и задавался вопросом: «О чём думает он?» О чём думает Йоли, мне было тем более интересно, но она сама довольно быстро расставила всё по местам.

– Ты первая любовь Матэ, я знаю, он рассказывал.

Йоли выглядела до того спокойной, что я сразу поверил в то, что её не только не волнует этот наш юношеский опыт, а напротив – она правда старалась мне понравиться. Словно я был лакмусовой бумажкой, и от того, какое мнение составлю на её счёт, зависит вся их дальнейшая жизнь.

– Это вряд ли можно назвать любовью, – ответил я.

Я даже не пытался сосчитать, сколько раз сам себе задавал вопрос: как назвать то, что тогда между нами произошло? И должно ли у этого вообще быть имя.

– Конечно, любовь, что же ещё? Только любовью это и можно назвать! – Матэ вернулся с полным бокалом чего-то бурлящего. – И нечего тут стесняться, Йоланта удивительно понятлива. Более того, мне кажется, она даже рада, ведь так?

– Да, я называю это «хорошим вкусом», – сказала Йоли. – Когда Матэ рассказал мне, что ты его первая и самая большая любовь, я сразу поняла – у этого парня со вкусом всё отлично. Что касается твоего вкуса, то он просто идеальный.

Я подумал, что она права. Тем более что обстановка не располагала к спорам. Да и спорить тут было не о чем.

– Знаешь, мне вообще очень чужды все эти штучки по поводу расы, сексуальной направленности или религиозных предпочтений. Обращать на это внимание – самая большая глупость, которую только можно было изобрести в мире. Вообще не понимаю – почему я должна ссориться с человеком, если я мусульманка, а он христианин.

– А ты мусульманка?

– Нет, не в этом дело. Я вообще никто. Ну, то есть, я верю в бога, но я его себе никак не представляю. Мне приятно думать, что он сам в состоянии разобраться – праведно я живу или нет. Но мне кажется – если ты обижаешь другого человека, это тебе на небесах в плюс не зачтётся. Не-а. Вот я, например, не люблю байкеров. И мне совсем не нравятся все эти рокеры – с клёпками на одежде, в коже, с длинными волосами и что там у них есть ещё. Они меня пугают, сама не знаю почему. Это брезгливость. Я живу в другом мире и не хочу с ними общаться. Но я никогда им об этом не скажу, я отойду в сторону. В их мире может оказаться, что я не самый приятный человек на планете, и, скорее всего, так оно и есть. Но если я когда-нибудь познакомлюсь с чуваком, и он докажет мне обратное – это ничего не будет значить. Точнее, это будет значить только то, что всё это его рокерство никак на него не влияет, а он просто хороший парень. И длинные волосы его никак не характеризуют, при условии, что они чистые. И всё, что происходит с темнокожими, геями, левшами и так далее, – из этой же оперы. Это полный бред, травмы детства. И мудачество.

– Что вдруг за серьёзные темы! – вмешался Матэ.

– Ничего серьёзного, – ответила Йоли. – Помнишь, я тебе рассказывала, как недавно читала, что в какой-то стране убивали людей в очках? Считалось, что раз ты в очках, значит, грамотный и много читаешь. А если грамотный, значит, в твоей голове могут рождаться противоречивые мысли. А нам противоречивые мысли ни к чему, пройдемте на костёр. Если разобратся, мы все – меньшинства, просто скрыты до поры до времени кто под чем. Поэтому пусть бог сам решает, правильно я живу или не очень. На то он и бог.

– Йоли! – произнёс Матэ.

– Что? – откликнулась она.

– Я тебя обожаю. Ты знаешь?

– Я знаю. Просто я не строю иллюзий.

– Я знаю, потому и говорю.

– Я тоже тебя люблю.

– Чем докажешь?

– Чем хочешь.

– Тогда хватай этого парня, – Матэ обнял меня за плечи, – и идёмте в воду, а то вы оба сводите меня с ума.

– Я вообще очень рада, что ты есть у Матэ, – не унималась Йоланта, когда мы уже оказались в воде. – Ты его так держишь! И это так заводит!

– Что значит «держишь»? – не понял я.

– Ты кумир его! У нас есть все твои пластинки. Он говорит, что единственное, о чём жалеет в жизни, – это о том, что вам так и не удалось сыграть вместе.

Матэ был увлечён танцем с какой-то девушкой и не слышал нашего разговора. И, пожалуй, хорошо, что не слышал. Не то чтоб мы обсуждали какие-то секретные темы, просто в его присутствии Йоли вряд ли бы сказала мне то, что сказала.

– А ты не ревнуешь?

– К тебе или к ней? – она кивнула в сторону развлекающегося Матэ.

– К ней. Ко мне-то что ревновать?

– Нет, ты знаешь, у меня такой, некоторые говорят странный, а мне кажется, очень прямой подход к этому. Я его к девушкам вообще не ревную. Я знаю, что он ни на кого просто так не поведётся. А к Еве и ревновать нечего, она вообще лесби. С тобой по-другому, с тобой я поняла, что если бы у него первая любовь была девочка – я бы страшно ревновала. Это же так сложно – соревноваться с первой любовью. Первая – это же навсегда! И все, кто говорит обратное, – либо врут, либо вообще никогда в жизни не любили!

– А к парням сейчас ревнуешь?

– Тоже не ревную. Во-первых, он сейчас со мной. И если он захочет уйти, неважно к кому, – он уйдёт. Тут ревнуй не ревнуй, это ничего не решит. А во-вторых, он из парней любит только тебя. Он мне рассказывал, что пробовал с кем-то, но не смог. Ты у него один. А к тебе ревновать бессмысленно. Он всё равно выберет тебя, что бы ни случилось. К тому же, только извини, что я так открыто об этом, но я тебя встретила сегодня впервые, а ты мне уже как родственник, как семья. Ты всегда с нами. Эта ваша музыка прочней любых цепей. Она вас навсегда соединила.

– Что ты ему говоришь? – спросил неожиданно появившийся Матэ и добавил, обращаясь уже ко мне: – Теперь ты почему такой серьёзный?

– Я говорю ему, что ваша музыка вас связала навсегда, но вы же и без меня это отлично знаете, так что я не говорю ничего нового! – сказала Йоли.

– Я не серьёзный, я не могу отделаться от привычки ловить ноты! – пояснил я.

– Ну так давайте тогда выпьем! – радостно крикнул Матэ. – Мы тут всё ещё трезвее всех, и это меня пугает, я не хочу потерять репутацию.

Как мы выбирались из купален, я помню не очень хорошо. Как уснули – тем более. Перед тем как вырубиться, Матэ успел накрыть меня простынёй с замысловатым орнаментом, после чего рухнул где-то рядом.

Проснувшись, я обнаружил, что мы в квартире одни. Заварив себе кофе, я стал дожидаться, когда Матэ проснётся. После такого количества алкоголя самое важное – это здоровый сон.

Размешивая чёрную жидкость, я порассматривал людей, идущих по блестящей в солнечных лучах улице, потом принял душ, воспользовавшись местным шампунем и заботливо приготовленным накануне чистым полотенцем, после чего привычно отправился изучать корешки книг, напрочь забыв, что в доме есть кое-что поинтересней.

Ноты лежали аккуратными стопками, так что к ним было страшно прикасаться, чтобы не нарушить порядок. Альбомы, сборники, концертные партии хранились в таком идеальном состоянии, что можно было подумать – их не используют вообще. Но это было не так, и в этом заключался ещё один талант Матэ – он умудрялся держать ноты практически в первозданном виде столь долго, что порой они даже после использования выглядели лучше, чем новые. К тому же – в них определённо появлялось некое благородство: эти ноты уже произвели на свет музыку.

Поддавшись искушению нарушить порядок и перелистав несколько сборников, надеясь, что Матэ не станет злиться, я наткнулся на то, о чём не забывал никогда.

– Я заказал репетиционный зал, – вдруг раздался голос Матэ. Он уже проснулся и потягивался, сидя на постели. – Я подумал, что если мы не сделаем этого сегодня, то не сделаем никогда. Если ты, конечно, в состоянии.

– Это я в состоянии делать в любом состоянии, – ответил я, словно принимая вызов. – А где Йоли?

– Она ушла в полдень. У неё какие-то натурщики. Вечно возится с голыми мужиками. Она же художник. Хотела вообще-то быть скульптором, но лепит редко. Она собиралась, как закончит, пойти с нами, надо ей позвонить.

– Не надо. Я не хочу, чтобы это кто-нибудь слышал. Кто-нибудь, кроме нас. Как бы это ни звучало. По крайней мере не в самом начале.

– Хорошо, как скажешь.

Матэ поднялся и отправился в ванную комнату. Я раскрыл ноты, которые знал наизусть с четырнадцати лет. Ноты, которые переиграл в таком количестве вариаций, что, когда оказывался за роялем, еле сдерживался, чтоб не прибавить чего-нибудь от себя.

Матэ, как и в нашем детстве, играл блестяще. Я давно не слышал, чтобы виолончель звучала столь изящно, в простой, в общем-то, мелодии. Мы пускались в импровизации и возвращались к исходному материалу, позволяя себе откровенные шалости, вроде перехода от рахманиновской прелюдии к сонате Дебюсси, а затем к концерту Фолькмана, чью оркестровую партию я прекрасно знал в переложении для фортепиано.

Позже пришла Йоли, и мы с гордостью и нетерпением показали ей то, что мучило нас обоих четырнадцать лет. В финале «Восточного танца» она расплакалась и, утирая слёзы, обнимала нас по очереди и обоих сразу, и говорила какие-то глупости.

И Матэ поцеловал меня в самое начало губ.

Покидая город трёх городов, я почувствовал безграничное счастье – мгновенное, как всё вечное.

09. Любляна (Словения)

– Меня никак не отпускают основополагающие моменты почти любого повествования. Я на них заиклен. И когда я заиклился, я не помню. В один момент я стал обращать внимание на вещи, которые раньше меня вообще не интересовали. А теперь от этого часто зависит истинность моего восприятия. Я тебе объясню. Я недавно посмотрел фильм. Называется *Teaching Mrs. Tingle*. Стал смотреть только из-за Хелен Миррен. Фильм полная херня, и я бы бросил его через пятнадцать минут – на Хелен Миррен засмотрелся. На неё всегда смотреть такое удовольствие, даже если она снимается в откровенной лаже. Так и тут. Кино – обычная подростковая бжня. Если бы не завороты про иронию и не Хелен Миррен – то там вообще смотреть не на что. Его снял парень, который писал сценарий «Крика» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Но это его не красит. И вот там весь сыр-бор – я тебе спокойно об этом рассказываю, потому что ты всё равно смотреть не будешь, а если и будешь, то эти спойлеры тебе не мешают, там всё равно кроме Хелен Миррен ничего достойного. И вот там привязывают её к кровати. Хелен Миррен я имею в виду. Они пришли к ней в дом и типа взяли её в заложники за хорошие оценки, она учительница. Привязывают её к кровати и сами там ходят кругами. А она лежит. Привязанная. Они кормят её с ложки, поят, разговаривают иногда, а она лежит. Злитесь временами. Суток трое, наверное. Да пусть и двое, одна ночь там точно проходит. Но за эти двое суток она ни разу не идёт в туалет. Понимаешь? Ни разу! Сама она, естественно, не может, потому что привязана, а когда ей помогут, и главное – как помогут, на это ни намёка.

Я смотрю и эта мысль у меня первая: она же захочет в туалет, что они будут делать? И тишина. Ни намёка на пописать. И вместо того чтобы следить за и без того не самыми роскошными поворотами сюжета, я только и думаю о том, как они будут выкручиваться, когда ей в туалет надо будет. А ей будто и не надо. Ну как так? И всё – фильм летит в корзину, потому что так не бывает.

– Может, они водили её в туалет иногда? Знаешь, некоторые ситуации не описывают и не показывают, потому что они сами собой разумеются. Нам же не показывали, как Скарлетт О’Хара ходила в туалет, но предполагается, что она такой же человек, как и все, поэтому зачем тратить внимание и время на то, что и так понятно.

– Ничего не понятно. Скарлетт О’Хара вся в любви и в борьбе – там акцент другой, ей не до туалетов. А тут это ключевой момент. Это же главный вопрос – как человек, находящийся в заложниках, справляется с обычными человеческими потребностями? Я видел другой сериал, он девушку свою бывшую от горя в подвале запирает, после того как она сказала, что между ними всё кончено, и она там сидит неделю точно, а потом он её вообще приковал к железяке, что с места не сойти – и что? Как быть? Даже в рамках этого фильма, с Хелен Миррен, она прекрасна там, конечно, но это всё – это же отдельный психологический пласт. Они её ученики, она для них – небожитель, к тому же, учитывая её характер, небожитель хтонический. Аид в юбке. И потому вопрос оправления надобностей важнее всех остальных вообще. Это обычно закрытая тема, и, значит, когда у неё появляется желание пойти в туалет – именно это делает из неё человека. Обычного. Как все. А то и ниже остальных в этот конкретный момент – потому что все остальные могут спокойно пойти в туалет, закрыться в кабинке и сделать свои дела, не опасаясь, что их кто-нибудь увидит. То есть не то что увидит – об этом даже говорить не надо. А тут что? Ну что тут? Ты говоришь: само собой разумеется – я не понимаю, что именно разумеется? Они под дулом пистолета ведут её в туалетную комнату, оставляя за собой право хоть на что-нибудь человеческое? Или они подсовывают ей утку? Ты понимаешь, они её с ложки кормят, там даже есть полусексуальные намёки! Это ведь зачем-то показывают, еду я имею в виду. Но ничего про туалет!

– Всё равно, мне кажется, ты сгущаешь. Даже если в этом случае произошёл такой фак-ап, это просто упущение, но часто это действительно не имеет значения. Если, конечно, это не ведёт за собой каких-то последствий.

– Хорошо. Я задам тебе другой вопрос. Ты сейчас ведёшь этот дневник своих путешествий?

– Вряд ли это дневник, но допустим.

– Записи делаешь, фиксируешь то, что кажется важным.

– Да, наверное, так.

– Ты приехал в Словению, посетив уже, сколько ты сказал? Восемь? Восемь стран. Ты хоть что-нибудь написал про секс?

– Не думаю.

– Вот! А теперь представь: ты писатель, пишешь эротический роман – тут, конечно, будет секс и никаких вопросов. А если роман не эротический? Если он просто про жизнь? Про путешествие? Если ты напишешь книгу про путешествие и я буду её читать, я буду задаваться вопросом: что у тебя с сексуальной жизнью? Ты пишешь про еду?

– Бывает. Даже, наверное, часто.

– Почему? Почему ты считаешь важным рассказывать про еду, которая является обычным способом удовлетворения одной из потребностей, и не рассказываешь про секс, который, по сути, тоже лишь способ удовлетворения одной из потребностей.

– Может, потому что еда везде разная, а секс одинаковый?

– Никогда так больше никому не говори – утверждение, что секс кругом одинаковый, ещё никого не украшало. Напоминает притчу про какую-то дуру, которая, чтоб уберечь чужого мужа от измен, зачерпнула сначала воды с одной стороны лодки и дала ему выпить, а потом с другой и тоже дала выпить, и спрашивает: «Ну, есть разница?» При чём здесь разные стороны лодки? Если б она его в Хуанхэ макнула, а после в Тихий океан пристроила – я бы послушал, что он скажет. Еда тоже может быть одинаковой, если ты не уделяешь ей должного внимания. Пойми, я не против аскетичности, но зачем лишать себя удовольствия, дарованного свыше? Бог даёт нам овощи, фрукты, мясо, воду – человек научился смешивать это так, что получилось настоящее искусство. Секс ты тоже можешь смешивать так, что получится настоящее искусство. И в некоторых странах прекрасно получается, там где сексуальная культура действительно является культурой, а не зажиманием по подворотням – хотя в этом тоже может быть своя прелесть, своя интрига.

– Но если книга не о сексе, зачем включать туда такие подробности?

– Да ради правды! Если герою книги двадцать пять лет или даже сорок, да пусть и восемнадцать, и он две недели ездит по нормальным городам, по нормальным землям, где живут нормальные люди, я хочу знать, как он справляется со своими сексуальными потребностями. Ты же не будешь утверждать, что человек хотя бы один раз за это время не подумает о сексе и о том, как справиться с собственными устремлениями?

– Не буду.

– Он же не в Гималаи духовными практиками заниматься отправился!

– Даже если и так.

– Даже если и так. Хорошо, я готов даже представить, что такой уникум найдётся. Или пусть он монах, или отказался от всего в силу каких-то убеждений – ну скажи мне об этом. Ты – автор, объясни мне сразу, чтоб я не мучился дурацкими вопросами, чтоб я следил только за мыслью твоей, объясни мне, что этот человек, мой герой, отказался от любовных утех по причине – да по какой угодно причине – по причине разочарования в женщинах. Не будет члена моего в женском лоне, да не оскверню я себя мерзостью такой. И всё! Никаких вопросов. Хотя мне было бы интересно – как он усмирал плоть.

– Всё это какой-то вуайеризм.

– Именно. А разве вся литература не вуайеризм? Это же подглядывание за другими. Другое дело, что приличный автор вкладывает сюда мысль, чтобы ты подглядывал со смыслом. Чтоб вывод делал после подглядывания.

– Так же, как делаешь вывод после еды – хочешь ты этого или нет?

– Конечно! Один просто съест то, что ему дали, а другой попробует понять, из чего это сделано, как это сделано, с чем это подавать – более того, он будет не прочь дома пуститься в кулинарные эксперименты.

– Если хватает денег и фантазии.

– Именно! С сексом то же самое – ты либо развиваешь в себе этот талант, либо зарываешь поглубже и начинаешь хаять всех, кто, по твоему мнению, ведёт беспорядочный и аморальный образ жизни.

– В беспорядочной еде тоже мало смысла.

– Я тебе об этом и говорю. Мы с тобой не спорим – мы говорим об одном и том же. В еде – когда ты начинаешь в ней разбираться и получать удовольствие не только от насыщения, то есть – удовлетворения потребности в пище, но и работать над своим вкусом... да, вот именно так – это же работа над вкусом! – где очень важно самому себе ставить ограничения. Если посмотреть на некоторых – они не едят, они жрут. Жрут и жрут! И я бы законом запретил такое. Это то, чему надо учить в школе, – правильно и хорошо есть. Чтоб приборами человек умел пользоваться, чтоб салфетка была, чтоб рот закрывал. Я не могу смотреть на людей, которые некрасиво едят, – у меня пунтик. Если человек некрасиво ест – я не могу с ним общаться. Я серьёзно. Меня перекрывает. Ты дома можешь делать всё что угодно, но если ты вышел в люди – будь любезен.

– И как это увязать с сексом?

– Очень просто. Я не говорю, что секс надо вынести на улицу. Но если я иду в специализированный клуб или, знаешь, есть театральные постановки – я не хочу видеть там несимпатичных увальней. Это не должно быть мне противно.

– Некоторые любят несимпатичных увальней. Вопрос симпатии вообще очень скользкий.

– Согласен. Но и я волен в выборе кухни.

– То есть, по сути, и еда, и секс – это стремление к красоте?

– Думаю, да. В этом и проблема – большинство не видит в еде ничего, кроме еды. Им главное – набить желудок. Я воспринимаю еду, как такую же ступень человеческого развития, как все остальные – как прямохождение, как грамотная речь, как выбор музыки. Я не силен в антропологии, но, вероятно, когда-то мы хватали зубами кость, и это никого не волновало. Потом мы встали на ноги, и я задаю себе вопрос: почему это не должно влиять на другие элементарные функции?

– Я согласен, но всё равно не очень понимаю, зачем давать описание этих физиологических процессов, если они не имеют отношения к делу?

– Если совсем никакого отношения, то и не надо. Но часто всё имеет отношение к делу. Ты выстраиваешь образ своего героя, и чтобы я мог лучше понять его умыслы, рассказываешь о том, что у него было на обед. И когда он идёт воровать, у меня появляется выбор, как к нему относиться, он станет для меня совсем отрицательным персонажем или я найду повод его хоть немного оправдать. Я должен понимать – он ворует, потому что ему нечего есть или потому что он гад и сволочь, и для него главное – забрать, потому что ему всё мало. Он ворует у богатых для того, чтобы раздать это бедным, как известные персонажи, или он ворует у бедных, чтобы стать ещё богаче, как другие известные персонажи. С сексуальной жизнью то же самое. Я должен понимать степень удовлетворения героя. У всех есть сексуальные потребности. С возрастом, говорят, притупляется – но это я пока могу только доверять исследованиям, на себе испытывать не приходилось в силу возраста, мне всего тридцать. Но даже по себе я знаю, что в шестнадцать мне было практически всё равно с кем – гормоны из ушей летели. А сейчас могу

выбирать – это, кстати, к вопросу о культурном уровне. Процесс происходит не бессмысленно. Я думаю, у тебя так же?

– В общем, да, но давай вернёмся к герою.

– Да, с героем всё просто. Я должен понимать степень его удовлетворения. Это же влияет на его поступки – какой выплеск получает его сексуальная энергия. Если у него всё в порядке – хотя бы намекайте мне на его взаимоотношения с женщинами. Или с мужчинами – это всё равно. Или, если он, как ты, две недели разъезжает по Европе и о сексе ни слова, я автоматически делаю какой вывод?

– Что у меня проблемы?

– Не обязательно. Допустим, у тебя есть любимая женщина и ты хранишь ей верность.

– Тогда об этом автор тоже должен сказать?

– Конечно. Написав, что он пустился в путь, оставив дома любимую жену.

– А если нет любимой жены?

– Значит, ты должен получать по любимой жене в каждом порту. Приходить, очаровывать, соблазнять, покупать, в конце концов.

– А если я не очень?

– Значит, ты мастурбируешь. А теперь объясни мне – почему я должен об этом думать, вместо того чтобы наслаждаться ходом повествования?

– Может, ты придаёшь этому слишком большое значение?

– Да я тебе объясняю – мне было до какого-то момента совершенно всё равно. Но теперь для меня это ещё одна ступень на пути погружения в текст. И чем больше я в него погружаюсь, тем больше я хочу о тебе знать. Хорошую книгу хочется изучать со всех сторон. Хорошую книгу автор позволяет тебе писать вместе с ним. Поэтому если у героя начинаются проблемы, хочется сказать ему: иди потрахайся. И если он не может пойти потрахаться – то именно это очень часто объясняет, откуда у него проблемы. Возможен и противоположный вариант, что не отменяет всей системы, а только подтверждает её.

– Очень хочется здесь поговорить о Фрейде.

– Не стесняйся. Это ещё один спорный момент. Меня знаешь, что больше всего раздражает? Меня раздражает не то, что человек пользуется устоявшейся фразой или использует напрашивающееся и без того понятное имя – как ты сейчас с Фрейдом – меня раздражает, когда человек использует это имя, не понимая, что оно значит. Когда он использует его просто потому, что так принято, только потому, что где-то услышал. Потому что так говорят все. Не обижайся. Я не про тебя. Просто ты сказал о Фрейде, а это очень показательный случай. И я решил об этом сказать. Хотя ты прав. Фрейд тут очень кстати. Но не в нём даже дело. Дело во мне.

– Дело всегда в тебе, и как раз в этом заключается весь Фрейд.

– Именно. Поэтому я сначала так ругал себя за то, что стал обращать внимание на эти физиологические подробности, а потом подумал: идите к чёрту! Если вы не обращаете внимания на элементарные вещи, почему я должен мириться с тем, что вы не обращаете на это внимания. Она лежит привязанная двое суток! Вы совершили ошибку, я всего лишь её заметил. У неё даже любовник там есть, чтоб я не подумал, что её сучность – результат не реализованных сексуальных фантазий. Чтоб я искал причину в другом. А причина есть всегда, и я прошу о туалете, чтоб не думать о том, что она робот, потому что иначе – она робот, а это выстраивает новую линию. И я прошу о сексе не потому, что мне нравится читать об этом, хотя мне нравится читать об этом, а потому, что я должен знать – причина не в сексе. И идти искать её дальше.

10. Загреб (Хорватия)

Хейзел осознала своё одиночество ровно в тот момент, когда подливала молоко в утренний чай. По сложившейся традиции она никогда не позволяла себе идти прямым путём от пакета к чашке и всегда пользовалась молочником. Эту особенность, совершенно нормальную для приличного дома столетней давности и выглядящую чистоплутством в наши дни, Хейзел воспитала ещё в веснушчатом детстве, когда обнаружила, что её имя слишком вычурно для простой хорватской девчонки.

– Мама, что за имя такое – Хейзел? – спрашивала она за завтраком, реагируя на утренние новости. – Почему нельзя было назвать меня как-нибудь нормально?

– Закрой рот и ешь, а то опоздаешь в школу, – отвечала мать, демонстрируя удивительную солидарность с миллионами других матерей во всём мире.

И Хейзел ела, и бежала в школу, подхватывая по пути одноклассницу Снежку, и обещала себе, что когда вырастет и заведёт детей, обязательно будет отвечать на все их вопросы и никогда не скажет «закрой рот и ешь», тем более что всем известно, как нелегко выполнить оба эти требования сразу. Хейзел ещё не знала, что точно такое же обещание когда-то давали себе и её мать, и её бабушка, и более древние родственники, о существовании которых она пока совсем не задумывалась.

«Что за имя у тебя такое – Хейзел?» – спрашивал Гойко, после того как она отдалась ему в первый раз, распрощавшись в пятнадцать со своей и Гойкиной девственностью, с той лишь разницей, что Гойко, как большинство парней, делал вид, что в своём возрасте уже успел познать многое, а Хейзел, стараясь не стараться, скрыть свою абсолютную неопытность не могла.

Зато она была опытна во всём, что касалось её имени, и могла с упоением, а может, и дерзостью, рассказать, что имя это, вообще-то, английское и что в переводе оно означает – орешник, и что мать её назвала так в честь Хейзел Далси Майнер – американской девочки, не дожившей месяца до своего шестнадцатилетия. «Что бы вы там себе ни думали, а моя мама была под таким впечатлением от истории Майнер, что поклялась назвать в честь неё дочь, раз уж ей самой досталось менее героическое имя». «Ей, это кому?» – спрашивали подружки, собираясь в кружок и споря, о ком Хейзел сейчас говорит: о матери или о неведомой американской девочке, почему-то не дожившей до шестнадцатилетия. Но Хейзел всем своим видом сразу давала понять, что вопрос это глупый, тем более что с её матерью все подружки хорошо знакомы, так что обсуждать тут нечего.

О чём ещё Хейзел обязательно бы смолчала под любой пыткой – это о том, что мать её и слыхом не слыхивала о Хейзел Майнер, а имя девочка получила в честь названия конфет, которыми мать объедалась, пока была беременна. В этом смысле ей очень повезло, что в ход не шли маринованные огурцы или мороженная слива.

Как и другие дети, достигнув определённого возраста, Хейзел стала задумываться о том, что наверняка в мире есть другие люди, носящие такое же имя, и было бы неплохо найти среди них тех, кем можно будет гордиться и при случае упоминать. Именно так на свет выпорхнула Хейзел Далси Майнер, как наиболее выдающаяся, по мнению Хейзел Хорват, обладательница одного с ней имени.

«Что за имя у тебя такое – Хейзел?» – спрашивал её муж на пятом году брака, когда любовная эйфория улетучилась окончательно вместе с последними запретными темами, и он вдруг понял, что жена его не особо отличается от всех остальных женщин, разве что имя её вызывает вопросы у его друзей, с которыми он вместе работал в автомастерской.

После этого вопроса и Хейзел, и её муж сделали для себя сразу несколько выводов. Урош впервые обратил внимание на то, что Хейзел зовут Хейзел, а не Живка или хотя бы Катарина,

и задумался: почему он раньше не придавал этому значения? А Хейзел поняла, что Урош вовсе не стеснялся задать ей этот, такой уже привычный вопрос, и вовсе не старался отличаться от всех остальных мужчин, а действительно не уловил того момента, что её имя отличается от других.

Усугубляло ситуацию то, что не уловил Урош момента как раз в то время, когда Хейзел начала именем гордиться. И теперь она задавалась вопросом: что рядом с ней делает этот человек, от которого она, слава всем богам сразу, умудрилась не успеть завести детей?

Дети не сложились сами собой. Отношения Хейзел и Уроша представляли тот редкий случай, когда в паре мужчина настаивает на потомстве, а женщина не выражает к этому никакого интереса. И регулярные разговоры, и не менее регулярный секс не приближали Уроша к мечте, так что в конце концов он стал думать, что женился на феминистке, хотя, честно говоря, заблуждался относительно самого этого понятия не меньше всех прочих мужчин на свете – по крайней мере, мужчин, с которыми ему доводилось на эту тему разговаривать, а круг его разговоров, да и интересов, сужался до автомастерской, где он проводил порой не только рабочее, но и свободное время. А может, просто использовал это как прикрытие. По правде говоря, Урош в принципе не имел стойкого представления – что такое феминизм; в его понимании феминисток можно было охарактеризовать одной фразой из четырёх слов, которую он произносил всякий раз, как кто-нибудь сторонний отваживался спросить, как у него дела дома и всё ли в порядке с женой. «Она замужем за работой», – отвечал Урош и перекачивал зубочистку из одного уголка рта в другой, всем своим видом показывая, что он в общем ничего против не имеет, но если серьёзно, то, по его мнению, на таких женщинах можно поставить крест. Ничего путного из них всё равно не выйдет.

Хейзел была бы сильно удивлена, узнай она, что Урош считает её феминисткой. Тем более в таком узком смысле. Она вовсе не была «замужем за работой» и даже не слишком её любила, отдавая сколько положено. В какой-то момент она пришла к выводу, что их с Урошем брак смог продержаться целых четыре года 9 месяцев и 19 дней только благодаря её периодическим отъездам в экспедиции. Будучи геологом, Хейзел не часто, но отправлялась в недельные походы, после которых их с мужем страсть обретала новый виток. Дважды она отлучалась на месяц, и по возвращении ей казалось, что она вернулась не домой, а в медовый месяц, с той лишь разницей, что после походов ей не хотелось никуда ехать, а только сидеть дома и заниматься хозяйством.

Можно долго искать причины и строить предположения, но последняя командировка не дала обычного эффекта. Более того, она самым банальным способом поставила точку в их отношениях. Вернувшись домой, Хейзел попросту не обнаружила в шкафах вещей Уроша, а в себе обнаружила чувство удовлетворения, которое и запила праздничной бутылкой Траминаца.

«Что за имя у тебя такое – Хейзел?» – спрашивал Давор, с которым она погрузилась в скоротечный роман через месяц после расставания с мужем.

Потом ей этот вопрос задавали Мато, Станко, Зоран и ещё с десятков мужчин, но Давор ушёл дальше других, продолжив свою мысль то ли вопросом, то ли предложением: «Можно звать тебя просто – Хей?»

В тот момент Хейзел, которая встречалась с Давором уже две недели, осознала, что вполне зализала раны. И что Давору пора.

К тридцати трём годам Хейзел поняла, что единственное, что её интересует в жизни, это иностранные языки, в особенности те, до которых она и не мечтала добраться вживую.

«Раньше я думала, что есть только один язык – африканский. Для меня Африка была одной большой страной, где живут темнокожие люди. Все темнокожие, которые уехали из Африки, говорят на английском. Иногда на французском. Все, кто остался – продолжают

говорить на африканском. Если не готовятся к дипломатической работе. Сейчас я чувствую себя полной душой, но это меня не смущает. И меня не смущает, что это меня не смущает».

Я встретил Хейзел на кладбище Мирогой. Трудно представить себе более подходящее место для подобного знакомства. Я честно пытался, но у меня ничего не вышло, так что я пришёл к простому выводу, что на земле вряд ли есть другая точка, где я мог её встретить. Она смотрелась так органично на фоне плачущих ангелочков, будто сама была одним из них, разве что не плакала – и пока не потеряла способность к движению. Хотя некоторые статуи выглядели живее живых. Основательно-скорбящие скульптуры напомнили мне о главной задаче, так что я набрался смелости и спросил:

– Можно вас сфотографировать?

Хейзел даже не задумалась.

– Конечно, – сказала она уверенно, и на секунду мне показалось, что она решает, какое выражение лица меня устроит больше. Может быть, стоит даже заплакать.

Хейзел ответила так, словно фотографироваться на фоне могил Мирогой было её работой. Слово она за этим там и стоит. Деньги зарабатывает.

Я сделал несколько снимков – довольно однотипных, но должны же у меня остаться хоть какие-то пятна от путешествия. Может, когда-нибудь я стану вспоминать его с тоской и думать, что это лучшее, что случилось со мной в жизни. Хотя вряд ли.

– Nvala lijero, – поблагодарил я Хейзел, закончив фотографировать.

– Nema pa seti, – ответила она. – А вы откуда?

– Извините, я не люблю об этом говорить, – произнёс я, вежливо уклоняясь от ответа и вспоминая об Адель. Когда та спросила моё имя, я впал в замешательство первый раз. Это был второй.

Но Хейзел ничуть не смутилась.

– О! Это так интересно! – воскликнула она. – Я когда уезжаю куда-нибудь, тоже никогда не рассказываю, откуда я. Это такая бессмысленная подробность. Как печать на лбу.

– Зачем же вы задали мне этот вопрос?

– Хотела узнать, есть ли в вас интрига.

– И как?

– Определённо есть. Осталось выяснить, какая именно. Пройдёмся немного?

– Почему бы и нет. Вы же позировали для меня на фоне могил, по сравнению с этим лёгкая прогулка – самое малое, что я могу сделать. Так что – буду рад.

Разговор рисковал приобрести приторную светскость, от которой необходимо было срочно бежать, но бегство – это действие, предполагающее несколько шагов в обратном направлении, а я не очень понимал – в обратном направлении – это куда? Не метаться же из стороны в сторону – это ещё хуже.

Надо отдать Хейзел должное – мне не понадобилось самому изобретать темы. Хейзел справилась отлично.

– Я всегда мечтала учить языки, – вырнула она на любимую тему, и я заметил, что, по сути, это шаг назад, но он совсем не напоминает бегство. – Так мечтала, что почти начала. Проблема заключалась в том, что у меня не было мотивации. Я не понимала, зачем мне это надо. А потом открыла для себя всё это африканское. Узнала, что есть собственно африканский, – он называется африкаанс, вы знаете? Но на нём говорят в общем только в ЮАР, а всё, что выше по карте, – там совершенно другое: орома, игбу, фула, языки манде, это вообще целая отдельная группа. А ещё кикуйю со всеми диалектами. У них там у всех сплошные диалекты. Я когда стала смотреть классификацию, чуть с ума не сошла. Я же думала, что возьму и начну учить африканский язык, а оказалось – я просто не могу выбрать.

Она развела руками.

– Так и не выбрали? – спросил я, чувствуя настоящий интерес. В конце концов, когда ещё я окажусь между орома и кикуюю.

– А вы знаете, – ответила она, – оказалось, что не надо учить буквы. Совсем. Я думала, у них закорючки, а там латинские буквы, как у нас, представляете? Да. И тогда я ещё немного помучилась и выбрала. Решила учить малагасийский. Это честно. Это честно по отношению к другим. Во-первых, Мадагаскар хоть и Африка, но как-то сбоку от основной Африки. А во-вторых, разве острова не прекрасны? И раз уж я не могу выбрать что-то совсем африканское, то пусть будет так. Знаете, как на малагасийском «спасибо»? Misaotra.

– Misaotra, – повторил я. – С этого обычно все начинают: здравствуйте, спасибо, я тебя люблю.

– Я сразу начала с «я тебя люблю» – tiako ianao. А потом счёт выучила: iray, goa, telo, efatra, dimy, enina, fito, valo, sivy, folo.

– Удивительно. Жаль, что я этого не запомню.

– Я для себя, повторить. Сложно учить язык, на котором не придётся говорить, наверное, никогда в жизни. Врачи, когда латынь учат, и то – рецепты выписывают, органы разные, заболевания. Опять же, при случае, между собой можно, чтоб другие не поняли. А мне куда с моим малагасийским? Друга, что ль, найти по переписке...

– Поехать на Мадагаскар не трудно, – со знанием дела произнёс я. – Мне кажется, это не слишком дорого, да и не слишком далеко. Земля вообще довольно мала, а самолёты летают всё быстрее, такими темпами мы скоро перестанем получать от них удовольствие и они превратятся в аттракцион. Бросил монетку – получи карусель. Поэтому летите на Мадагаскар, пока не поздно.

– А может, и полечу! – воскликнула Хейзел. – Полечу, вот увидите! Да! Только за тем, чтобы убедиться, что всё, чему я научилась, совсем не так. Сейчас тут поговорю с вами и поеду. Я сюда за вдохновением хожу. Вы куда-нибудь ходите за вдохновением?

– Я люблю реки.

– Реки – это прекрасно. В них есть что-то очистительное, да? А я сюда хожу. Иногда к камням рукой приложусь, и новые силы появляются. Я знаю, что сама это придумала, но надо же во что-то верить. Вы знаете, что это кладбище основано на земле, принадлежавшей Людевиту Гаю?

– Гаевица? – неуверенно спросил я.

– Да, – кивнула Хейзел, – это наш алфавит. Видите, как всё просто – где ещё искать стимул для изучения иностранных языков, как не в родном языке? Мне всегда так хотелось каких-то историй, что я выросла и оказалась совершенно обычной. И всё, что меня отличает от других людей, – это имя. Но если я поеду в Англию – там этих Хейзел, наверное, десять тысяч штук, и я потеряю свою единственную особенность.

Говоря это, Хейзел совсем не впадала в уныние. Она выглядела так, будто просто констатировала факты, на которые не стоит реагировать эмоционально. Всё, что случилось, – уже случилось. Хоть плачь, хоть смейся. Но я почему-то чувствовал желание её подбодрить, хотя понимал, что она в этом не нуждается.

– Почему единственную? – я всё же решился на полушутливую попытку. – Останется малагасийский язык.

– Если я успею его выучить до того, как отправлюсь в Англию. А я обязательно туда отправлюсь только за тем, чтобы встретить в своей жизни хоть одну живую Хейзел. Вы когда-нибудь встречали человека с именем, как у вас?

– Да, и не редко. Даже часто.

– А я никогда, понимаете? – она вдруг остановилась, словно только что впервые осознала эту её жизненную недостаточность. – Словно их и нет больше. Вся жизнь моя проходит только с одним вопросом: что за имя у тебя такое – Хейзел? Я была озабочена уникальностью имени

и перестала думать о том, чтобы действительно стать уникальной. Меня так удивляют люди, гордящиеся своим именем или национальностью, или городом, в котором родились. В этом ведь нет никакой их заслуги. Это то, что было им дано по рождению.

– Разве нельзя гордиться чужими достижениями?

– Можно, наверное. Правда, приходится бороться с завистью – и в этом точно нет ничего уникального. Но вы же понимаете, я когда говорю – гордиться – я имею в виду – нельзя ставить себя выше других в том, что сделано не тобой. То, что ты родился в одном месте, а кто-то в другом – не делает тебя лучше, значимей, понимаете?

Я не пытался сопротивляться, думая о принцессах, и даже не сказочных, а настоящих, но мне было интересно понять её мысль до конца, тем более что в целом я был с ней согласен.

– А я ничего не сделала сама, – продолжала она. – Вожусь с именем. Сначала стеснялась, потом гордилась, потом это стало утомлять, теперь привыкла.

– И больше не вспоминаете мисс Майнер?

– Всё время вспоминаю. Каждый раз, когда задают вопрос, рассказываю про Майнер. Какая разница – правда это или нет? Но раз уж мне выпало жить с именем Хейзел, значит, я должна была придумать историю. К тому же – жить, опираясь на чьё-то доброе имя, легче.

– Расскажите?

– Историю Майнер?

– Да.

И Хейзел рассказала.

Хейзел Далси Майнер родилась 11 апреля 1904 года в теперь уже окончательно заброшенном и превратившемся в призрак городке Санджер, округ Оливер, Северная Дакота, США. Помимо неё в семье было ещё четверо детей – Зельда, Эммет, Меридит и Ховард. Зельда была на шесть лет старше Хейзел, и поэтому, когда Эммет и Меридит пришла пора идти в школу, сопровождать их выпало пятнадцатилетней Хейзел, учившейся в то время уже в восьмом классе. Как и большинство детей, до школы Майнеры добирались на запряжённой повозке – с лошадьми Хейзел, будучи дочерью фермера, управлялась легко и обязанность отвозить-привозить брата и сестру приняла как должное. К тому же, как говорят, она была тихой и послушной девочкой, так что уж кто-кто, а она бы точно не нарушила правило не уезжать домой без сопровождения взрослых, если вдруг разыграется непогода.

То, что случилось в Северной Дакоте в середине марта 1920 года, непогодой назвать трудно. 15-го числа началась одна из самых страшных в истории штата снежных бурь, сыгравшая ключевую роль и в судьбе Хейзел Майнер.

Учеников в тот день отпустили пораньше, чтобы они успели добраться домой до наступления пурги. Отец Хейзел, Уильям Майнер, доехал до здания школы верхом довольно быстро, да и путь был не длинным, всего две мили. Около часу дня, привязав лошадь по кличке Старушка Мод к лёгким саням, в которых уже разместились дети, Уильям наказал дочери ждать, пока он приведёт из школьного сарая вторую лошадь. То ли Старушка Мод оказалась пугливой обычного, то ли буря внезапно ударила новым порывом, но лошадь рванула с места, и удержать её у Хейзел попросту не хватило сил.

То, что Хейзел отлично знала местность, в которой жила, не играло никакой роли: сильный ветер и снег, забивающий глаза, не позволяли видеть ничего дальше вытянутой руки. Несмотря на то, что дети были одеты достаточно тепло: пальто, шапки, рукавицы, – очень скоро стало понятно, что в таких условиях это слишком слабая защита, ставшая практически бесполезной, когда сани, взбрыкнув на овраге, подбросили Хейзел в воздух, так что она соскользнула в сугроб, вымокнув окончательно. Отряхнувшись и поправив поводья, Хейзел продолжила вести сани сквозь бушующую метель, слабо понимая, в каком направлении они движутся, и надеясь, что её опыт выведет хоть куда-нибудь, пока, напоревшись на очередное препятствие,

сани не перевернулись. Уставшие и продрогшие дети попытались поставить их на полозья, но сил уже не было. Ничего не оставалось, как попытаться выжить, дожидаясь помощи.

На случай холодов в санях предусмотрительно лежали несколько одеял. Используя саму повозку в качестве укрытия, Хейзел расстелила два одеяла на земле, и велела детям лечь, после чего накрыла их третьим одеялом и сверху устроилась сама, стараясь отдать ткани тепло своего тела.

Чтобы не замёрзнуть, Хейзел то и дело заставляла Эммета и Мередит шевелиться, она рассказывала им истории, пела вместе с ними песни, читала молитвы, постоянно твердя о том, что они не должны заснуть – что бы не случилось.

«Обещай мне, Эммет, как бы тебе ни хотелось спать, не позволяй себе. И толкай сестру!» – говорила она. Затем обращалась к сестре: «Мерedit, не хнычь, а лучше пой тихонечко, так и Эммету будет веселее».

В это время Уильям Майнер уже давно вернулся домой и собрал спасательную дружину. Тридцать человек с собаками искали детей весь день и весь вечер. Когда совсем стемнело и видимость, отяжелённая бурей, стала равняться нулю, они вынуждены были прекратить поиски, чтобы продолжить их с первыми проблесками утреннего света.

16 марта, в два часа пополудни, через 25 часов после пропажи детей, их обнаружили в двух милях от школы. Перевернув сани, люди увидели Хейзел – она лежала поверх младших брата и сестры в расстёгнутом пальто и с раскинутыми руками, пытаясь отдать им последнее тепло своего тела. Рядом с санями стояла Старушка Мод – все понимали, двинься она с места, утащив сани за собой, детей замело бы снегом с головой, – так что их вряд ли смогли бы найти. Во всяком случае – до весны.

Сложно описать счастье отца и радость всех, кто помогал ему в поисках, когда стало понятно, что все трое детей были живы – их немедленно отвезли к человеку по имени Уильям Старк, его дом стоял ближе прочих. Дочь Старка, Анна, вспоминала позже, что звук, который издавали руки Хейзел, когда задевали мебель в доме, пока её несли к кровати, напоминали треск только что принесённого с мороза выстиранного белья.

Привести в сознание Хейзел пытались несколько часов. Её мать, Бланш, прибежав к Старкам сразу, как получила известие, что дети нашлись, была в таком шоке, что села в кресло-качалку и раскачивалась взад и вперёд всё то время, пока детям оказывали первую помощь.

Хейзел так и не очнулась. Бланш, которой в какой-то момент удалось уснуть, позже рассказывала, что во сне ей явилась Хейзел и сказала: «Мне было холодно, мама. Но теперь уже нет».

Через шестнадцать лет около здания суда округа Оливер поставили монумент с высеченной надписью: «В память о Хейзел Майнер. Дань мёртвому, память живущим, вдохновение потомкам».

Во время снежной бури, бушевавшей три дня, помимо Хейзел погибли ещё тридцать три человека.

11. Сараево (Босния и Герцеговина)

Что было дальше?
Чем они себя утешают?
Чем оправдывают своё дыхание?
Я скажу тебе.
Все они из чего-то вырастают.
Или лучше сказать – все они вырастут во что-то.
Они взрослеют, сохраняя в себе оттенки детства.
Они стареют, оберегая очаги молодости.
Она кричит: я не могу жить в этом религиозном плену.
Она кричит: я не могу быть особенной там, где особенность принимается за порок.
Она кричит: ваша коричневая шапка – это преступление.
Как она может носить эту коричневую шапку?
Как кто-то вообще мог сшить такую коричневую шапку?
Вокруг так мало солнца, если оно не отражается в глубине твоих глаз.
Если оно не может впитать тепло твоих рук.
Кто вообще мог придумать такие руки?
Зачем эти руки, если вокруг так много солнца пропадает зря?
Я иду по улице маршала Тито, на которой всегда что-то происходит, словно это не улица,
а стиральная машина в общественной прачечной.
Здесь происходит всё.
Асфальт, как стиральный порошок, затирает пятна крови.
Дома с выпученными окнами разлагают внутри своих комнат пятна спермы.
Трамвай с грохотом проверяет на прочность пуговицы, соединяющие чужие друг другу районы.
Витрины строят прохожим глазки, надеясь на лёгкую добычу, на свежее мясо, на новое лицо, среди примелькавшегося однообразия.
Мне хочется кофе и велосипед.
Мне хочется крыши и маску героя.
Мне хочется свежести запаздывающего вечера.
Мне хочется всё, что я уже хотел когда-то.
Мне не хочется ни с кем говорить.
И мне не хочется ничего хотеть.
В такси я одёргиваю плечо, я пишу на бумажке «вези меня по кругу, вези меня вот сюда и обратно, вези меня вдоль и поперёк».
Вези меня подальше отсюда, чтобы я мог вернуться.
Вечер приходит без стука – поправляет волосы, подводит глаза, прячет ненужное по карманам, прячет всё, что может его выдать утром.
Вечер поправляет меня в себе.
Он говорит мне: спокойно, я говорю спокойно; всё, что ты видишь, – станет покоем; всё, что ты видишь, – исчезнет, как только ты перестанешь давать этому имя; как только ты позабудешь имя; как только ты перестанешь приманивать это к себе, протягивая конфетку-пустышку; я говорю спокойно.
Что было дальше?
Дальше дети отказывались понимать, что они – люди на вырост.
Их родители отказывались понимать, что они производят людей на вырост.
Природа отказывалась понимать – чем всем им не угодила плесень?

Природа отказывалась понимать, что вырастая дети перестают думать, что они – плесень. Природа от них отказывалась.

Она говорила: делайте что хотите, живите как хотите, вырастайте во что хотите – только оставьте меня в покое.

Оставьте меня в моей плесени.

Ибо плесень превращает всё в камень.

Я останавливаюсь у театральной тумбы, у чего-то, что выглядит как театральный тумба – это точно не почтовый ящик, не телефонная будка, не трамвайная остановка, не цветочный магазин, не сигаретный автомат, не уличная клумба, не высохшая старушка, не триумфальная арка, не памятник кукловоду, не забытый стул, не дымовая труба.

Это башня.

Или опора моста.

Или колонна.

Или театральный тумба.

Я обхожу её кругом, прикасаюсь к ней, пинаю, ласкаю, подсматриваю – словно она солнце, а я её планета.

Мимо проносятся метеоры: прогуливаются кометы, проскальзывают астероиды – астрономические тела идут на опасные сближения, рожают новые звёзды, оборачивающиеся в системы.

Солнце превращает всё в камень.

Что и было дальше.

12. Белград (Сербия)

Милан, 22, Храм Святого Савы: Никогда не знаешь, в который день от Рождества Христова ты лишишься всего. Собственно, лишая себя Рождества, ты лишаешь себя иллюзий, а разве этого мало? Я никогда не праздную Рождество. И мне никогда не дарят подарков. Как-то было не принято. Считалось, что подарки – это что-то такое, развратное. Развращающее. Всё, что ты получаешь, – нужно заслужить. Когда я заканчивал учебный год хорошо – меня возили на море или однажды купили велосипед, но это не считалось подарком. Это была плата. То, что я заработал хорошей учёбой. У нас даже на дни рождения ничего не дарили. Однажды приехала какая-то дальняя тётка и привезла нам с братом пижамы. Мама сначала сказала «спасибо, мы не нуждаемся», а потом согласилась принять их за деньги. Расплатившись по полной стоимости. Но мне кажется, тётка специально немного занизила цену, как смогла, чтобы это не выглядело подозрительно. И чтобы саму себя убедить, что она хоть немного, но подарила. Рукав или карман. А дни рождения были настоящим табу на подарки. Угощения были, гости были, а подарки – нет. Считалось, что это неискренне. Что человек вынужден специально что-то придумывать, хотя ему рады просто так. Подарок – это ведь что-то просто так? Я не знаю, мне было обидно в детстве – всем что-то дарят, а мне нет. Теперь я вырос и думаю, что мама была права. Всё, что у меня есть, – я заработал. Даже если у меня ничего нет – это тоже я заработал. Но никто не сможет упрекнуть меня в том, что что-то досталось мне просто так. Я заработал и то, что у меня есть, и то, чего у меня нет. Сам я тоже, конечно, делаю людям подарки. Иногда. Не часто. Но это обычно значит, что мне что-то от них надо. И они об этом знают. И это честно. А иногда я делаю подарки, чтобы просто думать, что я хороший. И тогда мне что-то надо от самого себя. И это тоже честно. Приятно думать, что я хороший.

Негош, 28, Зоопарк: И тут я увидел слона. Я с детства не отличаю индийского от африканского, знаю только, что у них уши разные, но в этом и подвох – я никак не могу запомнить у кого какие, да? А потом эти умные люди заявили, что есть третий вид, и я окончательно успокоился. Ты можешь смеяться сколько вздумается, но у меня жизнь перевернулась. Я в тот момент, когда прочитал про третьего слона, – понял абсолютно всё. Я счастливый человек, у меня в жизни было всего два потрясения: первое – когда я увидел слона, второе – когда они изобрели ещё одного слона. Ты что-нибудь знаешь про слонов? Я ничего не знаю про слонов. Это правда. Правда и то, что все знают, что есть в Индии и есть в Африке, да? Но оказалось, что в Африке их два: один в саванне, другой в лесах. Про того, кто в лесах, раньше тоже знали, но не отделяли его от того, кто в саванне, а потом стали сравнивать ДНК – что за чёрт! Совершенно разные звери! Не абсолютно разные, конечно, но существенно, да? И тогда я всё понял – всё остальное устроено точно так же. Ты с юности привыкаешь к устройству мира: вот это А, вот это Б, вот это красное, а это черепашка. Потом узнаёшь, что есть черепашки и есть слоны. Потом узнаёшь, что слоны бывают африканские, с большими ушами, и азиатские – с маленькими. И вся задача сводится только к тому, чтобы отличить одного от другого. У многих это получается. А другие многие вообще не задаются таким вопросом. Некоторые полагают, что в природе может существовать розовый слон, пока не доказано обратное, но таких мало. И вот твой мир приведён в систему, в порядок, да? Причём приведён не тобой, а самой системой – она положила перед тобой всё, что есть, с чем ты и вырос, и превратился в человека. Во всяком случае – многим это удаётся – вырасти в человека, да? Некоторые полагают, что людей не существует, пока не доказано обратное, но таких мало. И ты даже привык к тому, что в природе появляются новые виды. Неважно зачем, неважно почему, неважно откуда – они появляются и всё, природа не объясняет своих поступков. Тут и начинается самое интересное, ведь лесной слон – это не новый вид, он не вчера появился, более того – его не вчера нашли, он всегда был. Только вдруг выяснилось, что он другой – появилось новое знание. Думали, что

он такой, а он – другой. И всё! С этим надо как-то жить. Надо с этим как-то подружиться, потому что даже если его вернуть в прежнее состояние, это можно сделать только на бумаге – сам слон не перестанет быть другим. И невозможно вернуться туда, где было только два слона. Разве что уничтожить третьего. Но с теми, кто на это пойдёт, я не хочу иметь ничего общего, даже в рамках одного биологического вида, да? Лучше назовите слоном или сороконожкой, чем назовёте меня человеком.

Петра, 31, Музей современного искусства: Я скажу тебе только одно – я приехала сюда за сексом. Для меня это абсолютный секс-туризм, превратившийся в секс-эмиграцию. Тут даже задроты выглядят хорошо. Если парню двадцать или двадцать пять или тридцать – это всё. Парни тут – это сесть и открыть рот, пусть вся страна подходит по одному.

Огнен, 35, кофейня на улице Князя Михаила: Свобода выражается только в ощущениях, а на истинные ощущения способен только художник. Художник – в широком смысле, это может быть музыкант, может быть живописец, может быть хирург. Это может быть продавец кофе – всё зависит от взмаха его руки. Свобода созидательна. Встретив Даниеля, я его не узнал. Он был моложе и привлекательней, чем я ожидал. Очень угловатый, но это не углы о которые бьёшься, не рассчитав поворот, это углы с картин супрематистов, что означает, что он ещё и очень красочный. В нём чувствуется цвет. Я не был с ним раньше знаком, только видел на фото. Когда они собрали новую группу, он присоединился к их удивительному первоначальному дуэту, превратив его в трио, – и стал его центром. Этот центр он изменил в себе – он стал другой геометрической фигурой. Как в тестах, когда тебе предлагают выбрать треугольник или овал, и ты выбираешь треугольник или овал, в зависимости от расположения духа, будто это что-то должно означать. Я спросил, он ли на том фото в пшеничных полях, и он ответил утвердительно. Но не вопросительно-утвердительно, не ожидая продолжения вопроса, как иногда бывает, а словно удивившись, как я мог об этом забыть. Словно я сам был в тех полях и делал это фото. Я сказал, что я бы его не узнал, – картинка слишком разная. Тогда он говорит мне, что картинка не имеет значения, что я не узнал бы его, даже если бы посмотрел на неё сто раз, даже если бы она висела у меня на стене в спальне, я бы его не узнал, потому что для того, чтобы узнать человека, нужен как минимум второй пример. Я тогда переспросил – второй взгляд? Но он продолжал говорить не о взгляде, а именно о примере. Не о том, на что я посмотрю второй раз, чтобы лучше запомнить, а о том, что мне второй раз покажут. Что-то другое. Другое фото. В другом месте, в других цветах, с другим настроением. И если я смогу совместить эти два примера – я смогу попытаться узнать человека. А потом он сказал, что его-то я уж теперь точно не забуду. Я спросил: наверное, это потому, что теперь я видел его дважды? Но он сказал, что совсем по другой причине. И правда, я ведь помню далеко не всех, с кем виделся дважды.

Марко, 44, железнодорожный вокзал: Говорят, люди меняются. Это неправда. Люди меняются только в своих заблуждениях. Я думал, все люди разные, оказалось, вся разница в том, что есть их скелет. Уже несколько лет я прихожу на вокзал только для того, чтобы посмотреть в спину удаляющемуся поезду. Момент первого движения – самый важный. Это значит – началось. Это значит, чтобы изменить что-то, нужно следующее действие. Но поезда уходят всегда. В отличие от людей. Люди предпочитают возвращаться, даже если уезжают, как им кажется, с концами. Когда я был подростком, я думал, что я – великий актёр. Так хорошо мне удавалось всем морочить голову. Я думал, что все верят в мои маски, которые я надевал на себя с таким удовольствием. Я верил, что настанет день, и я предстану перед миром самим собой, настоящим. Наконец-то я смогу сказать ему правду. «Вы совсем не знаете меня», – твердил я про себя ночами, воображая, как я расскажу им всё. Я представлял, как буду торжествовать, видя гримасы удивления на их лицах. Я был так уверен, что ношу маску, что и правда стал придумывать роли, которые, как мне казалось, защищают меня от злого мира. «Вы ничего обо мне не знаете», – шептал я в ночную тишину и гордился собой, как ловко мне удаётся всех

обманывать. Они думают, что я – это я, что я такой, каким они меня привыкли видеть, каким они меня знают, а я совсем другой и никогда ещё не раскрывал им своих чувств, не показывал истинного лица. И однажды я сел в поезд и уехал, думая, что никогда не вернусь. Уехал с этого самого вокзала. Не глядя в окно. На что тут мне смотреть? Я думал, я знаю всё и даже больше. Я думал, город для меня закончен, я перелистнул его, как страницу надоевшей книги. У вас тоже, наверняка, есть книга, которую вы очень любили в пятнадцать, но вот уже много лет о ней не вспоминаете. И никто не задаёт вам вопрос: с каким персонажем вы ассоциировали себя, пока были подростком? Уезжая, я думал, что наступает время, когда, наконец, смогу быть самим собой – там, куда я еду и где меня никто не знал раньше, там, где меня нельзя сравнить со мной прошлым, я покажу свой характер, свою натуру, я стану человеком, которым я себя видел. Оказалось, что это как с зеркалом, – своё отражение вижу только я сам, привыкнув к искажённому силуэту. Разве у вас не бывает мгновений, когда вы смотрите в зеркало и видите там того же мальчика, которого вы узнали когда-то в детстве? Когда вы научились пониманию, что это – вы. Может, веки стали немного тяжелее, но в целом – разве что-то изменилось? Кто-то скажет, что человеку мешает раскрыться его окружение, что оно не даёт ему быть честным, быть собой. Я скажу – человек и есть то, насколько он себя раскрывает. Мы привыкли думать, что наша оболочка иллюзорна, а наша сущность – спрятана глубоко внутри. Это не так. Наша оболочка и есть наша сущность. Мы ровно то, что мы показываем. Как этот уходящий поезд. Он вернётся сюда через день или два и привезёт новых пассажиров. Но сам от этого не изменится. Для нас он останется просто поездом. И мы забудем о нём, как только с него сойдём.

13. Подгорица (Черногория)

Она идёт к двери, берёт купальный халат и, не оборачиваясь, скрывается в ванной комнате. словно герой фильма шестидесятых, я сажусь на постели и закурываю – впервые за долгие годы. Делая две затяжки (первая идёт на выдох, вторая – на вдох), ощущаю отвратительный вкус современных сигарет – он не похож ни на что, это полное отсутствие вкуса, будто пожевал горсть пепла. С брезгливостью я тушу сигарету в мраморное квадратной формы блюдце и встаю, чтобы распахнуть шторы – белое утро следующего дня.

Хочется выпить, сейчас бы мохито, но я достаю из холодильника пол-литровую бутылку воды. Расправляюсь с ней в несколько глотков – со стороны это выглядит как похмелье. Можно и так сказать – с поправкой на то, что я не пил. Над Балканами устойчивая жара, и потребность в серьёзных напитках становится меньше – глаз вычисляет бокалы с колотым льдом и разноцветной жидкостью, но уж никак не односолодовые чудеса.

С Леной я познакомился в поезде. Меня предупредили, что вместо семи часов мы будем ехать все двенадцать, и если я настаиваю на комфорте, то есть возможность выкупить всё купе. В такую жару будет душно. Должен быть вид из окна – там горы, скалы и неразведанные ущелья. «Но если вы любите компании...»

Лена не любила людей и тоже выкупила всё купе – мы оказались как раз по соседству, где-то посередине вагона, сами по себе представляя ущелье, по бокам много, в середине пустошь. Та самая бесплодная земля.

Мы встретились в коридоре в тот пограничный момент, когда лесистые горы начали перетекать в голые скалы, и я подумал, что это очень похоже на историю моих превращений. некогда плодородная почва обратилась не в пустыню, как я думал до этого времени, – она обернулась скалой, которая теперь надменно возвышается над миром, но вряд ли способна подарить жизнь. Максимум – пропустить через себя мощный поток, отсчитывая тысячелетия до полного разрушения.

В коридоре было довольно много народу – утомлённые тесным ночным переездом люди старались занять места у самых окон, чтобы ничего не отделяло их от развернувшегося пейзажа, хотя было понятно, что они гораздо больше интересуются свежим воздухом.

Лена выделялась среди прочих тем, что тоже была похожа на скалу. В ней не было опустошения, но чудилась отрешённость, и если люди вокруг представляли собой живой лес, шелестящий без умолку под порывами залетающего в вагон любопытного ветра, то она возвышалась над ними огромным камнем, предпочитающим созерцать жизнь, а не производить её самому.

Подойти к ней в вагоне я так и не решился, в подобных условиях это казалось издевательством. Поезд был хороший, но я всё равно чувствовал себя немного разбитым и не хотел никого отягощать своим мученичеством, надеясь насладиться им сполна. Так что дело совсем не в решимости, скорее, в числе свидетелей. Я понимал, что до меня тут нет никому никакого дела, правда отмечал, что на Лёну поглядывал молодой человек, стоящий от неё в нескольких шагах – по другую сторону. А раз никому нет ни до кого дела, то если кто-нибудь обратит внимание на одного человека, который разговаривает с другим человеком, он решит, что эти двое давно знакомы, а может, и вовсе – парочка. Что ко всему прочему могло потешить моё самолюбие – оно не на шутку разыгралось, когда я начал воспринимать стоящего по другую сторону парня как соперника.

Но я чувствовал, что проделанного пути недостаточно. Я был готов разговаривать с незнакомцами, но терялся в присутствии других людей, случайных свидетелей. От паранойи, что все вокруг следят за моими движениями, моими словами, вникают в то, что я говорю, и перевирают на свой лад, я пока не избавился.

Это своего рода заболевание пришло ко мне неожиданно, и может быть, навсегда. С ним сталкивался любой, не очень уверенный в себе человек, однажды представший перед публикой и решивший немного задержаться. А среди больших артистов, насколько я могу судить, не слишком уверенных в себе людей – большинство. Для многих необходимость публики и заключается только в том, чтобы поднабраться смелости. Сначала он перебарывает первый страх, затем удивляется своим успехам, потом получает первые порции славы и в конце концов спрашивает: кто все эти люди вокруг? Они со мной потому, что искренне любят меня, или это вопрос их самоутверждения? Способ полюбоваться собой. Как доверять тому, в ком подозреваешь сплетника, рассказывающего за спиной правду? С ложью можно смириться – наговоры не марают совесть. С правдой, проявившейся вне воли, договориться невозможно – разве что возвести её в культ.

Точно так же можно возвести в культ и себя, не беспокоясь о числе последователей.

Я решил возвести в культ Лену. Мне неожиданно понадобился кто-то, кому бы я мог поклоняться. Во времена моих прошлых поездок я забавлял себя, делая фото рядом с памятниками выдающимся людям, и чаще всего – композиторам. Так было, например, с Дворжаком в Праге или с Перголези в Ези. Это были коленопреклонённые фотографии, сделанные в первую очередь на потеху публике. Мне казалось, что эти фото очень необычны, и потому не только вызовут отдельный восторг, но и превратятся в мем. В то, чему будут подражать. Так и вышло.

Делая первые несколько снимков, я страшно стеснялся. Не того, как я буду выглядеть на фотографиях, и не того, что об этом подумают после, – я стеснялся простых людей, в этот момент проходящих мимо. Некоторые и правда обращали на меня внимание, но не слишком долгое и не слишком пристальное. Для них я был очередным туристом, который к тому же, вероятно, не совсем трезв. Или обладает неутолимой жадой перформансов. Играет в памятник раньше положенного. И больше позволенного. Но возможность неожиданных представлений мне нужна была меньше всего – так я думал сначала. Потом я стал получать от этого удовольствие, параллельно утратив способность понимать, перед кем действительно стоит упасть на колени. К тому же – не хотелось повторяться, что не помешало мне обойти в Бонне все шесть памятников Бетховену, не говоря уж о мелких вспышках.

Поклоняться живым сложнее. В них история ещё не завершилась. Я завидовал религиозным людям, способным пасть ниц не только перед символами, но и перед предводителями паств – священниками всех сортов, снисходительно тянущих руку для поцелуя. Каждый получает свою милость и свою милостыню. Каждый из них считает себя обладателем конечной истины. Каждый считает себя должным усеять этой истиной невозделанные серые поля.

Благодарить бога за дары – всё равно, что благодарить стену за то, что она защищает от ветра. Сказать спасибо тому, кто построил стену, – выше наших сил. На искреннюю благодарность человеку мало кто способен. Разве что на искреннюю хулу.

Из вагона мы выходили вместе. Продвигаясь по проходу, я специально выбрал время, чтобы оказаться сразу впереди Лены, и будто случайно задел её локтем.

– Извините.

– Ничего страшного.

Ни единой зацепки. Пикапер из меня никакой. Мы тут оба туристы – это единственное, что нас объединяет.

Я выпрыгиваю из вагона. Она собирается сделать то же самое. Вот он, шанс. Я протягиваю руку.

– Спасибо.

– Позвольте вам помочь, – я киваю на сумку.

– Вы с ума сошли, – протестует она, потрясая сумкой размером не больше моего рюкзака. Что за мода пошла?

Я замечаю недовольство на лице моего мнимого соперника. Через мгновение он теряется в толпе.

– Путешествуете налегке? – ругаю себя за отвратительную банальность.

– Вообще-то, я собралась к морю, – отвечает на незаданный вопрос. – Но решила задержаться тут на денёк. Торопиться мне некуда. Я смутно помню, как я уезжала, поэтому хочу запомнить, как приехала. Вам это тоже не помешает, тем более вы довольно милый.

– Спасибо.

– Чем думаете заняться?

– Представления не имею. Видимо, тоже задержусь тут на денёк. Но для начала не прочь позавтракать.

– Ориентируетесь в городе?

– Нет. Совсем.

– Я тоже. Тогда, раз вы никуда не спешите и я никуда не спешу, нам ничего не остаётся, как позавтракать вместе.

Похоже, я уже слышал нечто подобное.

Отказаться? Ну, нет.

Через полчаса мы едим одну на двоих пиццу на бульваре Ивана Черноевича, доказывая друг другу, что знакомы всю жизнь.

Есть женщины, знающие о тебе больше, чем ты сам, – с первого взгляда, без надежды на провал. Они сразу секут, кто больше принимал участия в твоём воспитании: отец или мать, а может, бабушка; они видят, кем ты был в школе, – лидером или изгоем, а может, скучной серостью; они понимают всю систему твоего поведения – нападаешь ты или обороняешься, а может, стоишь в стороне. Или сдаёшься, полагаясь то ли на судьбу, то ли на милость завоевателя. Эти женщины, собственно, сами отменные завоеватели, способные написать трактат по стратегическому планированию, но самые умные из них никогда не дадут тебе этого понять. Им достаточно внутреннего удовлетворения.

– Я живу в Санкт-Петербурге, – говорит Лена, и мы с лёгкостью находим общий язык. – Многие, особенно если со стороны, считают, что это лучший город на свете. Я с ними согласна, но мне проще – у меня не было особого выбора, я там родилась и люблю родину в её пограничном состоянии. Для меня это нормальное, естественное чувство. Но меня раздражает этот приезжий восторг. Такое ощущение, что их всех запрограммировали. Это, знаешь, как Мона Лиза. Ты видел Мону Лизу?

– Конечно, видел.

– Прямо живьём?

– Живьём? – удивляюсь я. – В смысле – не репродукцию?

– Да, в музее, настоящую, картиной. Где она – в Лувре?

– В Лувре.

– Так видел или нет?

– Видел.

– И как?

Лена откинулась на спинку стула и придала себе возбуждённо-загадочный вид, будто ожидая, что я сейчас раскрою ей главные тайны человечества.

– Ну, – начал я, – она меня напугала, помимо того, что это просто красиво.

– Напугала? – удивилась она. – Пугающая красота?

– Вроде того. Я испугался её разбить. Не то чтоб я хотел или даже задумывал нечто подобное, я просто испугался, что она разобьётся, и всё.

– Разобьётся? Она же не ваза!

– Не ваза, это точно. Но она своего рода сосуд. Она наполненная. Я стоял там и думал о смерти. Не о своей смерти и не о смерти вообще как процессе, а о смерти человека. Может быть, даже конкретного человека. О том, что смерть не столько страшная, сколько непонятная. Как это так – вот есть человек, а вот его нет. И никогда уже не будет.

– Можно верить в перерождение.

– Можно во что угодно верить, но если ты начнёшь ухаживать за цветком, уверяя, что это твоя бабушка, то довольно быстро окажешься в известном месте, где, вероятно, тебе тоже разрешат ухаживать за цветком.

– Нет, я вряд ли. Туда только буйных отправляют, а я хорошо прячусь.

– Так ты и станешь буйной. Твои дети, понятное дело, не станут тебя разубеждать, это дело крови, но обязательно найдётся тот, кто назовёт тебя сумасшедшей, – и вот тут ты станешь буйной. Не за себя, за бабушку будет обидно.

Мы решили заказать ещё одну пиццу, убеждая друг друга, что утром можно позволить себе любую еду – за день как-нибудь расходится.

– Я всё равно не очень пока понимаю, какая связь Моны Лизы со смертью? – Лена старательно вытоптала тропинку к исходной позиции.

– Да нет никакой связи. Это ощущения. Мои ощущения. Мои и только мои, ничьи больше. Я просто подумал, что если бы с картиной что-то случилось, – это... это как смерть человека. Невозможно представить, что её нет. Там дышать страшно. Мона Лиза так глубоко внутри каждого из нас, что многие этого вообще не осознают. Это данность – как небо. Мы же не можем представить, что небо раз и исчезнет? Это нелогично, антинаучно, сверхчеловечно – это невозможно. Состояние неба впаяно в наш генетический код. С Джокондой то же самое.

– Ну она хотя бы материальна.

– В этом я тоже начал сомневаться.

Мы пересекаем Морачу по мосту Святого Петра Цетиньского.

– В каждом городе, наверное, есть свой Пётр, – говорит Лена. – Только зовут их всех по-разному.

– Тебе ль не знать, – увёртываюсь я.

– Я и говорю, что у них это как заболевание. Петербург принято любить, даже если ты не находишь в себе сил восхищаться им искренне. Это всё от недостатка эмоций, от дефицита впечатлений.

– У меня было что-то подобное в Праге – я очень долго не мог туда доехать. Не складывалось. В манию превратилось. А приехал – город и город. Красивый, конечно, очень – замки, мосты, Влтава, но не ах! А потом понял – я избалован. У меня было столько впечатлений, что чувство восприятия притупилось. Что «ах» уже не будет никогда.

– Воспитывай в себе это как-нибудь.

– Я пытаюсь. Поэтому я здесь.

Лена изумилась так сильно, что сняла тёмные очки.

– В Подгорицу за впечатлениями?

– Ну не только в Подгорицу, но это часть общего плана, да.

– И много у тебя впечатлений от этой части плана?

– Пока не очень, но я надеюсь, их будет гораздо больше, – улыбнулся я, понимая, что Лена всё понимает и подробностей не потребуется.

Это то, что мне тоже в ней нравилось, – она была умна и при этом не слишком любопытна. По крайней мере, не уходила сверх необходимого. В ней вообще не было ничего сверх – такая гармония в естестве. Она искренне интересовалась, но не переступала черты – понимала, где нужно остановиться, чтобы не потревожить личное. К тому же Лена была избавлена от этих надоедливых женских штучек – постоянной необходимости подтверждения собственной кра-

соты. Она всё о себе знала и выбирала в этом смысле скорее смирение и скромность, чем пафос и апломб.

– Есть и те, кого Петербург не впечатляет, – продолжала она. – Но в этом никогда не разобравшись. Пойди пойми, что в них отсутствует – вкус или чувство такта. Некоторые предполагают, что это протест, и с этим можно согласиться, но зачем тут протест? Странно ведь, скажем, не любить Дженис Джоплин. То есть любить её не обязательно, но вряд ли кто будет спорить с тем... вряд ли вообще стоит об этом спорить. Тебе нравится Дженис?

– После того, что ты сказала, у меня нет вариантов, но да, нравится, конечно, и это искренне. Правда. Я люблю Дженис Джоплин. Клянусь.

– Чем докажешь?

– А это теперь надо доказывать?

– Теперь да.

– Как скажешь. Тебя устроит, если я скажу, что люблю Summertime только в её исполнении? И ещё в исполнении украинских хоров.

– Никогда не слышала украинских хоров.

– Ты не знала, что Summertime фундаментально – украинская песня?

– Шутишь! – чуть не вскрикнула Лена.

– Честно! – подтвердил я, почувствовав укол тщеславия. – Она называется «Ой ходить сон коло вікон». Колыбельная, разумеется. Я тебе поставлю.

Достав плейер, я отыскал нужный трек не быстрее, чем Лена свои наушники. Мы остановились, и следующие три минуты я с удовольствием наблюдал за меняющимся выражением её лица. Лена расплывалась в музыке, не оставляя себе шансов на спасение, и сама в эти три минуты выглядела хрупкой, как Мона Лиза.

– Это прекрасно, – сказала она, когда песня закончилась. Я только удовлетворённо хмыкнул. Уж что-что, а делиться музыкой я умею. Да, я совершенно точно это умею. Это одна из тех вещей, в которой не приходится сомневаться.

– А есть ещё? – спросила она.

– Что есть ещё? – не понял я.

– Ну такие песни.

– Есть.

– Это потрясающе! – не унималась она. – Я же именно об этом и говорю. Можно не любить, не полюбить, но как это может не впечатлять? Надо быть либо конченым сухарём, либо круглым безумцем. Нет, в этом невозможно разобраться.

Возвращая мне плейер, Лена покачала головой. словно в отчаянии.

– Невозможно, – повторила она.

– Я всегда думал, что разобраться можно в чём угодно. Главное, после того как разберёшь – собрать это всё обратно. Тут, конечно, тоже возможны варианты. Из одних и тех же деталей то и дело собираются разные вещи, и музыка в этом смысле – первое доказательство. Правда, я никак не могу решить, что интереснее – процесс или результат. В музыке они сливаются.

– Это, конечно, так, – задумчиво произнесла Лена, – мне сложно понять. Я всё ещё под впечатлением от песни, растеклась тут. Но я уверена, что совсем не имеет никакого смысла разбираться в том, где результат оказывается скучнее процесса.

Она прищурила глаз и посмотрела на меня с особенным смыслом:

– Сейчас, мне кажется, я сказала что-то про секс.

Я улыбнулся, стараясь убедить себя, что не стал в этот момент похож на обычного похотливого парня, хотя именно эту роль мне всегда хотелось, но никогда не удавалось примерить. Лена тем временем уже принялась чертить в воздухе таблицу.

– Это можно структурировать, но я не вижу в этом практического смысла, хоть пальцы загибай. Какая, в конце концов, разница, кто там что думает про город, в котором меня угораздило родиться и в котором я до сих пор живу?

Она снова надела очки, что было похоже на защитный приём, но не от меня же ей защищаться. Тем более что я очки не снимал, кажется, с самого вокзала и просидел в них даже в кафе.

– Недостаток впечатлений – это нормально, – продолжала она. – Я бы дорого дала, чтобы вернуть тот чистый, без пикселей, взгляд, и открывать, открывать, всё время что-нибудь открывать! Открывать, просто открыв глаза. Теперь всё чаще, чтобы увидеть, приходится присматриваться.

– Или прислушиваться.

– Точно! – она сделала выразительный жест, похожий на удар дирижёра в четвертую долю. – Постоянно приходится прислушиваться. А они приезжают, и у них всё! У них заполняется пустота внутри. Какая-то её часть. стакан наполовину полон или наполовину пуст – это уже дальше, но что-то наливается ими туда. Они же приезжают уже со своими предвзвешенными, с тем, что сейчас они приедут, и начнётся. И начинается. Потому что они ничего раньше не видели, кроме своих трёх улиц, даже если у них их триста. Их не приучили пойти и посмотреть, что там на соседней – есть ли там жизнь, есть ли там вообще хоть что-нибудь. Они знают, что ничего там нет, потому что так сказали, но на то, чтобы пройти проверить, не появилось ли, у них ума не хватает. Сказали же. Так и тут – сказали. В них есть что-то стоическое, такое, что скажите спасибо за то, что у вас вообще есть стакан. А бывают другие, которые приехали, остались, а потом прошло десять лет, и они говорят: «Петербург? Ну не знаю, чего вы тут все восхищаетесь, ну город, и что?» И это не выебон, они правда так думают – рецепторы заржавели. А другие как раз выебон – мол, я тут всё знаю, я тут живу, а вы все говно. Извини за грубость.

– История опять же.

– История само собой. Сначала окно в Европу, потом столица, потом балы бесконечные, царевинства, революции, блокада – такой бэкграунд попробуй вытяни!

– И книжки.

– Да-да, литература, Достоевский весь этот. Ты любишь Достоевского? Музыка. Загрустила я что-то – пойдём искупаемся.

Мы сидим на берегу Морачи в окружении молодых ребят и девушек. Они резвятся и заигрывают друг с другом, никого не стесняясь. Видно, что они бывают тут часто и почти все знакомы, если не тесно, то в лицо. Мы выглядим чужаками, с которыми можно иметь дело. С нами можно дружить.

– Ничего, если дам дуру и спрошу, чем ты занимаешься? – говорит Лена, разглядывая группку парней в нескольких метрах от нас.

Её тело, прикрытое в понятных местах тонким рисунком купальника, выглядит божественно. Их тела – тоже.

– Этот вопрос всегда ставит меня в тупик, – пытаюсь отшучиваться, даже не осознавая толком, как же я серьёзен, и отмечая затруднение номер три.

– Окей. Чем ты зарабатываешь? – продолжает, не отрывая взгляд от болтающих о чём-то ребят. – Пойми меня правильно. В общем, мне всё равно, я для статистики. Звучит ужасно, но это правда.

– Наверное, я музыкант, – отвечаю, пытаюсь подавить нотки внезапно возникшей ревности.

– Что значит «наверное»? – поворачивается ко мне. – Ты или да, или нет. Спрошу по-другому: это то, кто ты есть, или то, кем ты хочешь быть? Или не отвечай.

– Я – пианист, – удивляюсь собственной смелости.

– Пианист? – спрашивает, будто аккуратно разбирает пазл.

– Да. Если ты спрашиваешь про работу, это моя работа. Играть на пианино. Во всяком случае, раньше я играл. Не знаю, захочу ли делать это снова.

– Пианист, – держит паузу, сличая лица. – Ты не похож на пианиста. Да я никогда и не видела вблизи живого пианиста. Вот, оказывается, что это значит.

– А на кого я похож? – моя очередь проявлять любопытство.

– На ветеринара, – не задумалась ни на секунду.

– Почему на ветеринара?

Понятия не имею, что в ветеринарах должно отличать их от всех остальных людей.

– А хороши, правда? – меняет тему, кивая на резвящихся парней.

Или берёт тайм-аут. Сколько ей лет, интересно? Разве это имеет значение. Выглядит она на двадцать два – двадцать три. На хорошие зрелые двадцать два – двадцать три. А на самом деле?

– Сколько тебе лет? – отвечаю вопросом на вопрос, не требующий ответа.

– Хочешь заставить меня кокетничать? Двадцать девять. – Ничто не шелохнулось. – Но я хочу, чтоб мне было тридцать два.

– Зачем? – искренне удивляюсь, потому что это мне действительно не понятно.

– Хочу узнать, как это, когда тридцать два. – Снова поворачивается ко мне. – Именно в этом возрасте девочки начинают чувствовать себя женщинами. Появляются первые признаки старости. Они осознают необратимость процесса, если, конечно, они не полные дуры. Можно начинать шутить про возраст, не выглядя при этом подростком. Можно начинать повелевать, не боясь быть оставленной.

Молчание появляется само собой. Так бывает, когда рядом вода. Люди приходят и уходят. Кто-то задерживается, кому-то хватает пяти минут. Мы никуда не торопимся. Мы наблюдаем исподтишка. Мне интересно, чем всё это закончится, и может, предложить Лене поехать со мной дальше? Поехать дальше со мной. Пока я думаю, стоит ли обременять себя попутчиками и как это укладывается в план, Лена выходит на передовую:

– Мне кажется, у меня климакс.

– С чего ты взяла?

– Подумала.

– В чём проявляется?

– Открылась страсть к молоденьким мальчикам.

– Может, это не климакс?

– А что тогда?

– Может, это у тебя вкус прорезался?

Другая могла бы и обидеться. Но другие мне сейчас не интересны. Близость – это когда позволяешь себе шутки любого калибра. Будем считать, 1:0 в мою пользу, и двинем дальше.

– И что тебя останавливает?

– Кругом одни ветеринары. (1:1)

– И что же тебя останавливает? (2:1)

– Видимо, моя киска недостаточно пушистая! (2:100, признаю полный разгром.)

Солнце прячется за облако, Лена резко встаёт.

– Всё, не могу больше на них смотреть, сил нет. И подойти не могу, это нечестно. По крайней мере, по отношению к тебе.

– А я-то что?

– Сам знаешь что. Поехали на море? Или зачем я спрашиваю – поедem на море. Одевайся. Бар, Будва, Петровац, Тиват, Херцег-Нови, куда хочешь, только поехали. Тут – всё.

Она идёт к двери, берёт купальный халат и не оборачиваясь скрывается в ванной комнате. Словно герой фильма шестидесятых, я сажусь на постели и закурываю – впервые за долгие годы. Через десять минут я выйду из номера, взяв на память лишь звук льющейся воды.

14. Тирана (Албания)

Я уже говорил, что ненавижу чистить зубы? Да, я делаю это исправно – трижды в день, но я ненавижу это до чёртиков. Это реально меня убивает. И как могут мои дни проходить хорошо, если я начинаю их с того, что я ненавижу? Мне приходится идти на всякие уловки, чтобы хоть немного сгладить эти несколько неприятных минут. Зубы я чищу основательно и зубную щётку меняю вместе с новым тюбиком пасты. Это закон – кончается паста, кончается щётка. Я иду в аптеку и покупаю всё сразу. В условиях международной дружбы можно не бояться, что на полке будут лежать исключительно коробочки с неизвестными названиями на неизвестном языке и нужно будет пускаться в эксперименты, до которых я, честно говоря, не слишком охоч. При условии, что они не несут с собой новую суть вещей. К открытиям я готов всегда. Особенно – к переоткрытиям, когда оказывается, что привычная вещь обладает новыми качествами.

Это как одно и то же блюдо в разных ресторанах – всё зависит от руки повара и свежести продуктов. Правда, мне бы больше понравилось сравнение с музыкой. Один и тот же концерт все играют по-своему. Если, конечно, хватает смелости. А ещё – воображения. Фантазии, как известно, укладываются в отдельный жанр.

Поэтому, выходя из аптеки, я надел наушники и включил себе Третий концерт Рахманинова в исполнении Ашкенази и Лондонского симфонического с Андре Превинном. Чёрт, эта музыка способна преобразовать пространство. Мусор превращается в инсталляцию, люди превращаются в персонажей. Сразу становится понятно, кто тут главный дирижёр.

Вообще, я очень люблю дирижёров, но только хороших. Понять, что дирижёр хороший, очень просто, этим он не отличается от других музыкантов – его слышно. И в этом музыканты похожи на зубную пасту – и в том, и в другом есть что-то очистительное.

То же самое происходит с новыми местами, то есть с теми местами, где до этого не удавалось побывать. Приехав в город во второй или третий раз, увидев знакомые улицы, даже если там появились новые здания или открыт новый магазин, всё равно найдёшь свой собственный след. Его даже не нужно искать – он явится сам. Как в иных городах думаешь: «Господи! По этой улице ходил Караваджо! А тот дубовый стол хранит частицы его ДНК!»

В новых местах, в городе, куда приезжаешь впервые, – нет ничего. Такое ощущение, что пространство ограничено взглядом, и если заглянуть за угол, кажется, что пока не заглянул, – этих домов и не существовало. Глаз, словно невидимый компьютерный инженер, выстраивает город по образу и подобию.

Или становишься персонажем игры, каждый следующий уровень которой открывается не раньше, чем будет закончен предыдущий. Со всеми его бонусами и артефактами.

А мне очень хочется бонус или хотя бы артефакт. Кто-то привозит на память статуэтки, кто-то фотографии, кто-то магнит на холодильник – я ничего ниоткуда не привожу. Кроме узнавания – того, что пригодится в следующий раз.

То же самое происходит с новыми людьми. Правда, воспоминания о них никуда не годятся. Не потому, что они меняются стремительней, чем я могу запомнить, а потому, что меняюсь я. Изменяется моя система восприятия. И то, что выглядело интересным вчера, становится совершенно неинтересно сегодня.

А про завтра я не думаю. Если это не касается брони в отелях.

Поэтому если меня просят описать человека, то есть если меня спросят, какой он, я вряд ли смогу сказать что-то вразумительное. Это легко объяснить – я клюю только на неожиданное. И за чередой имён записываю те, к которым предстоит вернуться. А в Эрвине не было

ничего неожиданного. Он был похож на турка. Одет в полосатую футболку и джинсовые шорты по колено. И представился так, будто Эрвин – самое обычное албанское имя. Впрочем, сравнивать мне не с чем – я понятия не имею, какими должны быть албанские имена.

Я присел на лавку, стоявшую посреди улицы, название которой не мог прочитать, и стал рассматривать окна в домах на противоположной стороне. Ашкенази растекался по второй части концерта и я шевелил мизинцем правой руки, имитируя прикосновение к клавишам рояля. Я делаю это часто и в такие минуты обычно мало замечаю происходящее вокруг, но Эрвина нельзя было не заметить. Он появился откуда ни возьмись и уже что-то говорил в мою сторону, помогая себе руками.

Я снял наушники.

– Эй, друг, тебе нравится? Нравится здесь? Что сидишь – давай расскажу! Меня зовут Эрвин, всех здесь знаю!

И он уселся прямо рядом со мной.

В нём было что-то опасное – я даже слегка испугался. Слишком неожиданно он оказался рядом, будто в пространстве образовалась дыра из параллельного мира.

Первым моим желанием было извиниться, встать и уйти, без всяких отговорок. Но вдруг это мой единственный шанс? Если я задумал это путешествие для того, чтобы разговаривать с людьми, значит, надо сидеть и разговаривать. Даже если мне не очень интересно. Даже если совсем неинтересно. Тем более что я пока не знаю – интересно мне или нет. Мне всегда неинтересно, но я же должен воспитывать в себе любопытство.

Принято думать, что это плохая черта. Но я не лезу в душу чужим людям и не пытаюсь у них мелкие подробности, и за спиной не шушукаюсь. Если мне сложно проявить уважение и интерес, значит, со мной тоже что-то не так. И ещё неизвестно, кто из нас опасней – я или Эрвин. Не знаю, что ему надо, но я пытаюсь быть чутким. Чёрт знает, что это значит.

– Что ты слушал? Хорошая музыка? Любишь музыку? – Эрвин продолжал задавать вопросы, рассчитывая не пойми на что. Несмотря на чуть раздражающую навязчивость, выглядел он довольно мило.

– Это Рахманинов, – ответил я, надеясь, что мне не придётся пускаться в объяснения. Да и что тут объяснять – все знают Рахманинова.

– О! Рахманинов! Это потрясающе, обожаю Рахманинова! – Эрвин выглядел таким искренним, будто Рахманинова ему пели вместо колыбельных. – А ещё я Баха люблю, тоже хороший композитор.

Я тогда подумал: «Окей, Баха он любит, это новости – кого ж ещё ему любить? Кейджа? Ксенакиса? Чуть что – сразу Бах». Но далеко уйти в своих размышлениях я не успел. Эрвин огорошил меня следующим вопросом:

– У тебя есть девушка?

Я хотел пошутить, спросив, должен ли я понимать это как предложение, но ответил совсем другим вопросом, напоминая себе, что меня что-то в этом парне настораживает.

– Какое это имеет значение? – спросил я, показывая едва уловимое недовольство.

– Да нет, нет, не обижайся, это простой вопрос. Ты не похож на человека, у которого есть девушка. Я решил проверить свою интуицию.

– Интуицию? Проверить свою интуицию? На мне?

Если сначала я слегка притворялся, что меня раздражает его вопрос, то теперь я готов был разозлиться по-настоящему, правда, пока ещё не слишком сильно.

– Да, да, проверить свою интуицию на тебе. Есть девушка? – спросил он снова на своём сжатом английском, так что я на мгновение подумал, что, может, просто неправильно его понимаю, но это действительно был простой вопрос, в котором трудно перепутать слова.

– Нет, – ответил я. – У меня нет девушки. Я имею в виду – у меня много девушек. У меня нет одной, постоянной девушки.

Я и не заметил, как сам стал разговаривать сухими фразами. Так часто бывает, когда в процессе беседы невольно копируешь чужую манеру речи.

– Значит, моя интуиция меня не подвела, – удовлетворённо сказал Эрвин и зачем-то потёр ладони.

Наверное, это такой бессознательный, автоматический акт – в момент внезапного удовлетворения потирать ладони. Говорят, это активизирует энергетические точки, но, скорее всего, это просто ещё одно наследие, доставшееся людям от далёких предков. Чаще всего мы потираем ладони в предвкушении удовольствия, причём именно в тот момент, когда это удовольствие оказывается в поле нашего зрения, когда оно уже вот-вот, когда уже сейчас-сейчас. Всё, что нам остаётся, это протянуть руку и получить желаемое. Потерев ладони, мы делаем их теплее, а тепло делает нас живее, а живому ничего не жалко. Живому хочется дать, с ним хочется поделиться. Мёртвые холодны, и им давай не давай – уже нет никакого толка. Поэтому, когда Эрвин потёр ладони, я подумал – хорошо, что он хотя бы живой. И тут же отказался этой мысли – хорошо ли? В том смысле, что если он живой, а на самом деле мёртвый, это значит, что я попал в город зомби, а до этого момента мне и в голову не приходило, что я мог попасть в город зомби.

Что, если это и правда так? Он появился ниоткуда, врезавшись в моё куда-то, и кто даст гарантию, что я всё ещё в том мире, где был вчера? И существует ли вообще вчерашний мир? Кто даст гарантию, что я всё ещё живой, если ни одна душа, земная или небесная, не способна подтвердить, что я – это я? Может, Эрвин потому и подошёл ко мне. Признал своего. И ещё эта его фраза – о том, что он всех тут знает, теперь она приобретает совсем иной смысл.

Никогда не думал, что на моих похоронах будет звучать Рахманинов. И раз уж я в другом мире, не бродит ли он где-нибудь поблизости?

– Эй, друг! – Эрвин вырвал меня из цепей фатальной задумчивости. – Спроси и ты у меня что-нибудь.

Я посмотрел на него непонимающим взглядом – ещё один автоматический бессознательный акт.

– Что ты имеешь в виду?

– Спроси! Задай мне вопрос! Это очень просто!

– Так что – бывает? – спросил я, отметив про себя, что это как раз вопрос.

– Друг, я тут всех знаю, со всеми каждый день разговариваю, а ты человек новый – я хочу с тобой поговорить.

Он сделал ударение на *с тобой*.

Это как-то сразу ограничило мою свободу. Не то чтоб я сильно в свободу верил, но в тех случаях, когда приходится произносить это слово, хочется, чтобы оно хоть что-нибудь означало. И если человек говорит, что хочет что-то делать со мной, я первым делом задумываюсь – хочу ли я что-нибудь делать с ним. Я привык к тому, что большинство дел я лучше делаю один, чем с кем-то. То есть я не очень понимаю, почему некоторые люди думают, что с ними у меня получится сделать лучше, чем в одиночку. Они что – такие охрентельные помощники? Чаще всего они просто хотят выехать за мой счёт. Ничего больше.

Ладно, сделаем скидку на ситуацию. Разве не это мне было нужно? Разве я не вынужден ловить себя на мысли, что, перевалив за треть путешествия, начинаю сталкиваться с кризисом изобретательности? Разве не возвращаюсь я к обычному состоянию? Разве не думаю снова, что всё везде одинаковое? Но я знаю слишком много вопросов, на которые у Эрвина вряд ли есть ответы.

Что же у него спросить – на простом и понятном. Играть в вежливость или найти приключение?

Я собрался с духом и решил пойти прямым путём, тем более что вопрос созрел сам по себе.

– Хорошо, – сказал я и повернулся к нему в пол-оборота. – Эрвин.

– Да? – у него был до того заинтересованный вид, словно он встретил существо с другой планеты.

– У меня есть к тебе вопрос: «Скажи, ты хочешь меня ограбить?»

– Я не понимаю, – теперь он выглядел, будто действительно не понимал самого смысла слов. А может, это игра?

– Тебе нужны мои деньги? – спросил я другими словами.

– Деньги? – какое искреннее недоумение. – Твои деньги? Зачем мне твои деньги? Я поговорить с тобой хочу, друг. За разговор разве берут деньги?

– Некоторые берут, поэтому я и спрашиваю: «Не из их ли ты числа?»

– Нет, мне не нужны деньги. У меня есть работа. Я поговорить с тобой хочу, – повторил Эрвин, совершенно не обижевшись. – Но если ты не хочешь, я пойду. Скажи мне – и я уйду.

Я всё ещё чувствовал напряжённость, но мне становилось интересно. Эрвин не сделал мне ничего плохого, и, наверное, я не должен его обижать. К тому же кто знает – чем это обернётся. Не убьёт же он меня, в конце концов? На улице белый день, кругом какие-то люди, деревья растут, окна хлопают. Почему я должен думать, что Эрвин хуже всех других незнакомцев? Только потому, что он похож на бедняка? Так Албания – небогатая страна. Мне говорили.

Что же делать? Прогнать? Не знаю, что я теряю. Если я не знаю, что теряю, это ещё не значит, что я чего-то не потеряю. С другой стороны, я наверняка что-то приобрету, но будет ли это приобретённое обладать хотя бы малейшей ценностью? Неразрешимый вопрос. Ну хорошо. Буду расценивать это как тизер к фильму. Или первый пробный глоток только что открытой бутылки вина.

Я снова собрался с духом и сказал, что у меня есть немного времени, *совсем немного времени* – я сделал на этом акцент – чтобы с ним поболтать. Тем более если он любит Рахманинова.

– Буду рад познакомиться, – сказал я, сам не знаю зачем.

– А я буду рад пригласить тебя в гости! – добродушно ответил он. – Ты и так гость, так почему не зайти в дом? Не выпить по чашке бозы?

И тут всю мою тревогу словно рукой сняло. Я понятия не имел, что такое боза, но почему-то почувствовал такое успокоение, будто в этом слове таилось заклинание. Вспомнив про гипноз, я подумал ещё – не гипноз ли? Но разве в состоянии гипноза можно думать про гипноз? У меня было полное ощущение собственного сознания, а сознание говорило, что вот так запросто идти в чужой дом не следует. Впрочем, я и не собирался. Хотя делал это уже несколько раз.

– Спасибо за приглашение, но у меня нет сейчас желания расхаживать по гостям, я бы предпочёл провести время на улице. Побродить, посмотреть на город, на Мать Албанию или Мать Терезу, – сказал я, надеясь, что это прозвучало максимально учтиво, но на всякий случай добавил: – В такой прекрасный день.

– Почему? – искренне удивился Эрвин. – По чашке бозы выпьем, про семью тебе расскажу, про свою мать. Ты мне про свою расскажешь. Боишься чего-то?

– Нет, не боюсь, – ответил я, чувствуя, что действительно ничего не боюсь. – Просто это для меня как-то... не традиционно.

– А, традиции, это я понимаю. Если в твоей семье так не принято – я понимаю. Традиции – это святое. Я много знаю о традициях. Я вырос с бурнеша. Мы живём по Кануну.

Первое, что я подумал, когда услышал слово «Канун», что это что-то религиозное. Может быть, даже секта. Мне тут же живо представились картинки их собраний и то, как они с моей помощью выходят на международный уровень. Я даже представил, как продаю свой рояль и тоже начинаю жить по Кануну.

– У моего прадеда не было сыновей, – продолжал Эрвин. – Только дочери. А женщина не может быть главой семьи. Женщина не наследует и не правит. Прадед надеялся удачно выдать дочерей замуж, но старшая решила стать бурнеша. Моя мать рассказывала, что очень

ей нехороший жених попался, богатый, статный, но злой. Тогда она заявила, что будет бурнеша и сама станет хозяйкой. Отказать жениху было нельзя, когда уже слово дали.

– Это считается оскорблением?

– Да. Очень серьёзным оскорблением. За это положена кровная месть.

– Неужели всё так серьёзно?

– Да. Очень серьёзно. Очень многие люди в Албании живут в условиях кровной мести, порой десятки лет так живут. У кого-то убийство произошло, у кого-то случай помешал, у нас – бесчестье.

– А как случай может помешать?

– Недавно была история, несколько лет назад. Мотоциклист подрезал машину и сам разбился. В горах. Суд был и водителя оправдали. Справедливо оправдали. Я его знаю, водителя, он хороший человек. Если бы был виноват – сам в тюрьму бы пришёл. Очень честный. Тоже по Кануну живёт. А семья мотоциклиста пришла к нему и говорит: «Ты должен нам денег за ущерб, иначе – кровь за кровь».

– Убьют?

– Убьют. И полиция не сможет помочь. Но это плохие люди. Я их тоже знаю. Они Канун не чтут. Они закон себе в угоду ставят: что им выгодно – исполняют, хотят честными казаться, а что невыгодно – то и пропустить можно, где нажива есть. Он и заплатил, конечно.

– Не страшно жить при таких законах?

– А что делать? Закон есть закон. Древние традиции. Жизнь идёт, всё меняется, а традиции остаются.

– И тебе нравится так жить, по Кануну?

– Я привык. Когда сестра моей прабабки стала бурнеша, вся моя семья была вынуждена жить по Кануну. Иначе всё это ничего не стоит. Иначе наш род бы не выжил.

Понятие рода для меня всегда было очень спорным. Смешно смотреть на мужчин, которые стремятся иметь в потомстве мальчиков, именно для того чтоб продолжить род, хотя сами дальше своих дедов ничего не знают. Они будто хотят оправдать собственную никчёмность. Благодаря Эрвину я начал понимать, откуда растут ноги, и если раньше не осознавал таких моментов, то только потому, что не сильно об этом задумывался, а всё оказалось просто: в мужском мире женщина ниже статусом и не имеет никакого права на наследство.

То, что мне казалось пережитком, с каждым словом Эрвина набирало силу. Стремление сохранить традиции оборачивалось бандитизмом и смертью ни в чём не повинных людей. Это выглядело столь же абсурдно, как например, нацизм, где вся вина человека была только в том, что он родился евреем или армянином.

– Твоя семья тоже живёт в состоянии кровной мести? – спросил я.

– Нет, мне повезло. Но не стань сестра моей прабабки бурнеша, я бы сейчас был в четвёртом колене и, может, не смог бы вообще выйти из дома. Некоторые люди так живут. В доме убивать нельзя, Канун запрещает. Пока ты у себя дома – ты защищён. Поэтому есть люди, которые вообще никогда не выходили на улицу. Иначе их могут убить.

Я понял, что жизнь приготовила мне ещё много открытий, с которыми придётся как-то идти дальше. Огораживая себя стенами, замыкаясь в музыке, я довольно долго вообще не представлял, как приходится жить многим людям. Каждый хоть раз слышал про голод в Африке или войны Афганистана, но оказывалось, что во многих других странах, совсем рядом, существуют неписанные законы, от которых люди не в состоянии отказаться только потому, что они выросли под гнётом традиций. Ещё сильнее меня беспокоило то, с какой силой люди отстаивают свои традиции, попутно обвиняя других ревнителей в дикости и дремучести. Я вообще в Европе?

– И тебе нравится так жить? – снова спросил я, поймав себя на мысли, что Эрвину удалось заставить меня задавать ему вопросы.

– Не нравится, – ответил он. – Я согласен, что в любом древнем законе есть правильные вещи. Например, что убивать – плохо. Однако эти законы написаны старыми людьми. Они не знали, каким будет будущее. Канун говорит, что за убийство надо давать сто овец и полбыка. Но это же не значит, что если у меня есть двести овец и целый бык – я могу пойти и убить сразу двух?

– А кто такие бурнеша? – наконец спросил я.

– Это женщины, ставшие мужчинами, – коротко ответил Эрвин, и мне страшно захотелось выпить бозы.

– Разве тогда уже делали операции? – я задал, наверное, самый глупый вопрос в своей жизни.

– Нет, конечно, – рассмеялся Эрвин. – Тут другое. Женщины давали клятву, объявляли вечную девственность, переодевались в мужскую одежду, брали мужское имя и становились мужчиной на словах, становились наследником, а затем – главой семьи. Как сестра моей прабабки. Ни мужа, ни детей нельзя. Раньше бурнеша было больше – из-за мести мужчин убивали, а женщин не трогали. Теперь их меньше, но всё равно есть, и это очень уважаемые люди.

– И где их можно увидеть? С ними можно познакомиться? – нетерпеливо спросил я, даже не надеясь на положительный ответ.

– Это непросто, – ответил Эрвин, впервые задумавшись.

– Я заплачу, если надо, – сказал я очередную глупость, но пойдя разбери местные законы, когда тут такое творится.

– Друг, не надо денег. Ты – хороший человек, я вижу. Я покажу тебе бурнеша. Но надо идти. Это непросто, близко познакомиться ты вряд ли сможешь, но показать уважение – это можно.

Эрвин поднялся со скамейки, и я понял, что мы проболтали больше часа.

Мне очень хотелось кофе, и я собрался предложить Эрвину выпить по чашке перед дорогой, но моё любопытство увидеть бурнеша пересиливало.

– Пойдём, – сказал Эрвин.

– Пойдём, – сказал я, но добавил: – А как ты думаешь, может всё-таки выпить по чашке кофе или по чашке бозы? Тем более что я понятия не имею, что это такое.

– Друг! – Эрвин заметно повеселел. – Конечно, выпьем. Перед дорогой – святое дело. Боза – это вкусно! Это почти как пиво или как русский квас.

– Тоже традиционный?

– Очень традиционный. Особенно летом.

И мы пошли в неизвестном мне направлении, чтобы выпить по чашке бозы, а затем отправиться к бурнеша. И по пути я рассказывал Эрвину про традиции, и, например, о том, что по старинному русскому обычаю, перед тем, как дочь ляжет в постель с молодым мужем, его должна испробовать её мать. А у идаанов с острова Борнео есть традиция всех убивать направо-налево, потому что все, кого они убьют в этой жизни, будут их рабами после смерти.

15. Скопье (Македония)

Я соскучилась. Извини.

Напрасно

Такой день дурацкий, и я подумала что разок – не страшно. Вообще даже подумала – вдруг сообщение не дойдёт. Потеряется где-нибудь.

Что-то случилось?

Нет. Просто соскучилась. Помнила всё время, что ты запретил звонить и писать, а сегодня забыла.

Случается. Может и нелишне будет немного поговорить

Честно? Честно-пречестно?

Ага

Ой, как хорошо. У меня солнце за окном, что даже выходить не хочется. А вчера был дождь, и я вышла и стояла с босыми ногами, пока он на меня капал. А потом пошла домой и напилась такого крепкого чаю, что сама себе не поверила.

Не заболела?

Чай для живота полезно

Не заболела. Но могла бы – захотелось на минуточку. Чтоб в постели весь день проваляться с чаем и кино. Правда, я совсем не знаю какое кино смотреть. Только ты мне рассказываешь что надо, а что не надо.

А так я полная дура становлюсь.

Хорошо что не заболела – пришлось бы папе звонить, волновать. Посмотри Почтальон всегда звонит дважды

Посмотрю. А почему его?

Первое что пришло – без всяких ассоциаций. Так бывает что сначала что-то вспоминается, и только потом понимаешь зачем это вспомнилось

Ладно. Посмотрю. А ты там не болеешь?

Вспомнила что я же его смотрела уже.

Не болею. Мне особо некогда болеть.

Это хорошо.

Не потому что я чем-то занят, а потому что это будет как-то обидно. Тем более что я чем-то занят

Чем же ты, милый мой, занят?

Гуляю

А музыка у тебя какая сегодня?

Никакой пока не было. Пытался выбрать и ничего не выбрал. Ни одного явного желания, представляешь?

А я Тину Тёрнер с утра завела. И все полы перемыла случайно.

You're simply the best, better than aaaaall the rest

Да-да и ещё I'm your private dancer

A dancer for money, I'll do what you want me to do – тоже послушаю пожалуй, у меня есть с собой

Послушай конечно. Я пока полы мыла, вспоминала как мы с тобой танцевали под эту песню когда нам было восемнадцать. Или девятнадцать. Ходили в клуб этот не помню как называется уже, который твой друг открыл, очень модный был тогда.

Private – так и назывался

Точно. Совсем забыла. И там все такие модные и ты был всё равно лучше всех.

Ну не начинай

Как всегда, самый-самый. А я и не знала такой песни до этого. Хорошо что они придумали в чилауте ставить такие песни, а не как везде... как это называется?

Lounge

Да-да. Вот она молодец. Ты не грустишь там?

Нет

Познакомился с кем-нибудь?

Ну так, были моменты

Хорошие? Не обижают?

Ну что ты за ерунду говоришь

Ладно, ладно, извини. Ой, ну я очень рада. Не расскажешь?

Нет

Не хочу такими обрывками. Потом расскажу, а то нечестно получится, что про одних рассказал, а про других нет

Ооооо так ты много раз познакомился?

Смотря что ты вкладываешь в эти слова))

Ты же не любишь смайлики! Точно что-то не так.

Да прекрати, всё так. Случайно вышло

Ладно, ладно, не злись. Потом только обещаю рассказать. Обещаешь?

Хорошо

Точно?

Точно

Точно-преточно?

Ну сказал же

Ладно, ладно, не злись. А ты где сейчас?

Скопье

Это где ещё? Это город? Какое красивое слово!

Столица Македонии

Очень красивое слово. Надо запомнить. Я себе в блокнотик запишу.

Запиши

А что оно значит?

В блокнотик с жирафом

То ли наблюдать, то ли убежище

Что значит то ли то ли? Уж или одно или другое

Этимология ненадёжная

Это там Александр Македонский?

Почти

Что значит почти? Если это Македония, а он Македонский

Сложная история. Древнегреческие дела. Древняя Македония и современная – не одно и то же

Я думала одно и то же

Все так думают, но нет. Можно я не буду тебе рассказывать по смс всю историю?

Погугли

Странное дело. Потом посмотрю, почитаю.

Древние страны с современными вообще не очень пересекаются. То есть пересекаются, но не очень. Мир такой изменчивый

Чёрт

Ты погуляй там как следует, пока он снова не изменился.

Что такое?

Теперь мне самому стало интересно как там всё было. Или как тут всё было

А Александр это какой век?

4 до новой

Так давно

Он прожил всего 32 года

Всё

Стоп

Разговаривать об Александре Македонском в Македонии как-то уж совсем

Ты сам начал

Хахахахаха

Я????

Конечно ты

Я вообще ни при чём

А ты идёшь или сидишь или лежишь или что?

Вот так отхватил на ровном месте

Я гуляю вокруг фонтана

Красивого?

С лошадыю. На площади Македонии

Ну конечно с лошадыю. Что за фонтан без лошади.

Это точно – без лошади никуда

Много людей?

Ходят

Сходи лучше к морю.

Мне кажется смотрят на меня всё время. Я и сам на них смотрю.

Тут нет моря

Красивые?

Как это нет моря? В Македонии нет моря?

Бывает

Нет

А что есть?

Речка есть – Вардар

Ужас какой!!!

Ну какой же ужас

Что?

Точно нет моря?

Почему ужас? Нормальная речка, мост через неё каменный. Или даже – Каменный. С большой буквы. Название наверное. Достопримечательность, 15 век, символ и всё такое

Я была уверена что в Македонии есть море, вот я дура.

Не расстраивайся

Уже расстроилась

У меня какой-то журнал собрался интервью брать

Прямо там?

В Италии. Или это было радио

Не помню

Или не в Италии

Я вот за это тебя больше всего люблю.

Что ты умеешь исправить любое настроение!

Не начинай

Всё что угодно.

А что за журнал? А что за радио? И почему они вдруг решили? А ты был уже в Италии?

Ага, в любую сторону

Что-то я не помню.

Что в любую сторону? Не поняла.

Это про настроение

Я однажды выступал в Милане. С каким-то камерным ансамблем. Даже не помню – что мы играли

А-а.

Тоже не помню. Ну всё равно как я рада. А ты согласился? Или как обычно послал их?

Ой, ну я всё равно как я рада!!!!

Пять лет назад

Шнитке там был какой-то точно. А потом джазовые переложения которые Андрэ делал. Но я заболел тогда – у меня как в тумане

Согласился предварительно.

А они сами тебе позвонили что ль?

Письмо написали

Нашли ведь.

Я разве прячусь?

Конечно, прячешься. Где ты сейчас вообще никто не знает. Как хорошо, что я решила написать и спросить, а ты много уже проехал?

Мне папа принёс вчера бутылку вина красного, как раз итальянского. Налью себе бокальчик. Как всё складывается, как всегда. Ты точно мистический.

Я не прячусь

Мне просто стало не интересно. Ты же знаешь

И никакой мистики

Мне наоборот кажется что скучно бывает именно потому, что нет никакой мистики. Непознанное неизвестное придаёт остротки. Смещает акценты, восприятие. Мистика – это ведь сама возможность другого мира. Вероятность того, что всё может быть иначе. Что жизнь не заканчивается трёхмерными рамками

С унылыми коробками домов. С предсказуемыми реакциями. С разбавленными чувствами

Я завидую физикам

или астрономам – это способ человека заглянуть за

Им интересно – что будет дальше. Что там скрывается за пределом того, что мы уже обнаружили

Обнаружили – смешное слово

Эй

А у тебя музыка зато. Это тоже за рамки.

Вино наливала.

Бутылку еле открыла

Ладно

Я и говорю, что ты мистический, потому что весь за пределом.

Предел это граница. У меня она есть

Ничего ты не знаешь. Нет у тебя никакой границы.

Безграничное предполагает открытость.

Ну

Хочешь сказать я открыт?

Я всегда думал, что у меня не одна граница, а несколько.

Что визы нужны

Визы, конечно, нужны. Но ты же сам выдаёшь.

Не часто.

Я запуталась.

Не суть.

Может быть так бывает чтобы и границы и открытое? Или наоборот: проник за границу и там безграничное?

Мне надоело тут, я куда-нибудь пойду

Как угодно бывает. Лишь бы фантазии хватило

Пойди пойди, а куда?

На границу))

Аккуратней там

Да тут спокойно

Всё равно аккуратней.

Опять смайлики.

На ходу неудобно переписываться оказывается

И красного итальянского у меня нет

Или не итальянского

Как бы я хотела сейчас с тобой на юг. Но всё-таки к морю. И красного.

Как-нибудь. Это не сложно

Ты даже приблизительно не знаешь когда вернёшься?

Не отвечай. Глупый вопрос.

Нет

Ну иди тогда, чтоб я тебя не отвлекала.

Или соврал – приблизительно знаю

Пойду искать границы границ. Удивительно всё же, что границы с одной стороны это что-то очень близкое, то, что соприкасается. А с другой – то, что разъединяет

А когда?

Я остановился почти сразу

Хотя ещё бывает граница миров, за которой ничто

Осенью

Значит ничто должно соприкасаться с чем-то.

Ничто соприкасается со всем

Ой как долго ещё

Ну нет. Разве ничто бывает? Это уж я никак не могу себе представить.

Бывает

И ничего не долго

Ты же сам говорил, что воздух не видно, а он есть. Или радиоволны. Так я их представлять научилась. А в ничто тоже может что-то есть, только мы не знаем пока что именно.

А когда узнаем – найдётся новое ничто. В этом и есть прелесть ничто – оно безгранично

Хоть и погранично

Это получается как ты?

Ага

Ну нет. Я не согласна. Ты не ничто, ты очень даже. И самый лучший и вообще.

Может в этом и есть счастье человека – признать в себе ничто?

Осознать, что я – ничто

Выпуклое абстрактное ничто

Пока остальные строят из себя хрен знает что

А как же дружить?

Дружить тоже надо с ничто. Тогда будет – соприкосновение двух ничто

Хахахаха. Выпуклое – смешное слово тоже.

А ещё лучше – взаимоисключающее соприкосновение двух ничто

Тут надо ставить точку, конечно

Ой да

Напишу пьеску и так её назову

Не грусти там

16. София (Болгария)

Чувство, урывками настигавшее меня в Сараево, к утру накрыло с головой. Это именно то, чего я боялся. Хотел сказать – боялся больше всего, но я не знаю, чего я боюсь больше всего, как и не знаю – боюсь ли я чего-нибудь кроме. Мне кажется, я боюсь крокодилов, но я не знаю, что буду чувствовать, окажись рядом с крокодилом. Может, страх, может, сомнение. Всё познаётся в развитии.

После разговора с М. я будто утратил и без того шаткий навык коммуникации. Что-то подобное, должно быть, чувствует бегун, сделавший максимальное ускорение на последних метрах длинной дистанции, но так и не выигравший гонку. Поэтому, как только я сверился с картой и нашёл арендованную по адресу квартиру, я сразу выключил телефон и приготовился наслаждаться упадком одиночества.

Разбросав по комнате вещи, я сходил в магазин и купил кофе, мороженое, шоколад, бутылку Carolans, упаковку орехов кешью, упаковку воды и два килограмма фруктов: два зелёных яблока и всего понемногу.

Надо было что-то решить с музыкой, но есть моменты, когда стройность звуков кажется лишней. И тут я нахожу стойкое противоречие – для меня уже очень давно не бывает нестройных звуков. Я умею дирижировать дождём и записывать в нотах смех. Я могу наиграть пульс и в паузах рассказать жизнь. Правда, от этого нет никакого толку.

Это было в первый день. Когда я думал, что смотреть мультики – единственное, что может избавить меня от пункта два любой экзистенции, а именно – предаться воспоминаниям. Было бы что вспоминать. Может, для этого и нужны дневники? Записывая, я забываю, как это было. Чтобы потом вновь отыграть свою партию. Жизнь как репетиция, в которой так легко свалить на партнёра вину за провальный концерт.

Квартира была в самом центре, в искусственно-старинном стиле: с потёртыми косяками, деревенским столом и креслом-качалкой в одной из комнат. Собственно, больше в этой комнате ничего не было, и я перенёс туда пошарпанный табурет, чтобы он служил столиком для чашек. Были ещё комнаты, одна переходящая в другую и в третью, и была спальня с видом на крышу, красоты неимоверной.

Окно кухни выходило на какую-то церковь с зелёными куполами. Позже я выяснил – Святого Николая, уж не знаю, чем он провинился. Обстановка очень располагала к тому, чтобы приготовить здесь что-нибудь страшно вкусное, если б мне пришлось в голову пригласить гостей, но откуда тут гости. К тому же – мультики.

Занавески я везде распахнул. Создав ограниченное пространство внутри себя, я чувствовал, что мне нужно нечто безграничное снаружи. А что может быть безграничней света. Подумав об этом, я решил, что всякий на моём месте пришёл бы к ответу, что если и есть что-то безграничней света, то это, конечно, тьма, но уж больно подобные версии отдают средневековьем. К тому же с точки зрения окна – свет и тьма суть одно и то же: окно с одинаковым успехом стремится пропустить через себя и то, и другое.

Кофеварки не было, турки тоже, и я сказал за это спасибо невидимым хозяевам, предоставившим мне за четыреста долларов рай посреди города – на целую неделю. Я не знаю, зачем я снял квартиру так надолго, – у меня не было никаких планов, никаких устремлений, но и других вариантов тоже не было. Вариантов по сроку, я имею в виду. Это был порыв, который я никак себе не объяснил. Может, меня слегка утомили переезды, и я решил пробыть на одном месте чуть дольше обычного, а может, это просто попытка растянуть шаг – как в метро, когда едешь до своей станции, но вот диктор даёт понять, что пора, двери открываются, а ты стоишь, сдерживая внутреннее, выработанное движение, стараясь не выдавать порыва, а потом двери закрываются и вагон едет дальше. Весь состав едет дальше. И я еду вместе со всем составом.

В никуда, на две или три станции вперёд, чтобы просто узнать – как это. Я совершаю движение, которое другие люди в вагоне совершают ежедневно. И то, что расширяет моё личное ощущение пространства, для кого-то надоевшая суть всей жизни в её однообразном движении туда-сюда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.